



Наталья Кончаловская  
В ПОИСКАХ ВИШНЕВСКОГО

## Annotation

Автору книги довелось близко знать замечательного советского хирурга А. А. Вишневского. Достоверная, полная интересных подробностей повесть, написанная живо, эмоционально, воссоздает зримый образ хирурга-новатора, прекрасного человека и пытливого ученого.

Н. П. Кончаловская — известная советская писательница и переводчица, автор книг: «Дар бесценный» — о ее деде, В. И. Сурикове, «Наша древняя столица», «Эдит Пиаф» и других.

На обложке помещен фрагмент портрета А. А. Вишневского, написанного ее отцом — Петром Петровичем Кончаловским.

В книге использованы фотографии из семейного альбома А. А. Вишневского и из архива журналиста И. А. Снегирева.

- 
- [Наталья Кончаловская](#)
    - 
    - [Портрет](#)
    - [А. В](#)
    - [Дом в Казани](#)
    - [Что помнят друзья](#)
    - [Становление](#)
    - [Три дня в Ясной Поляне](#)
    - [Внук А. В](#)
    - [Листая страницы дневника](#)
    - [Сердце](#)
    - [Что помнят друзья](#)
    - [След на земле](#)
    - [У последней пристани](#)
    - [Что помнят друзья](#)
    - [У выхода](#)

- [Фотографии](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
-

# **Наталья Кончаловская** **В ПОИСКАХ ВИШНЕВСКОГО** *Жизнеописание советского* *хирурга*



**КОМПАС**

Консультант — доктор медицинских наук, профессор  
А. С. ХАРНАС

*Читатель мой! Войди в эту книгу, как входят в дом, и постарайся вспомнить моего героя, если ты знал его, или представить себе, если не знал.*

*Я писала эту книгу для тех, кому дорога наша русская современная культура во всех ее проявлениях. И одному из корифеев этой культуры, хирургу Александру Александровичу Вишневскому, посвящаю этот труд.*

*Работая над книгой, я столкнулась с примером такого вдохновенного служения нашему народу, нашей науке и такой могучей отдачи величайшему делу добра и мира, что решила передать гонорар за эту книгу в фонд мира.*

*Александр Александрович Вишневский при жизни защищал мир — и скальпелем, и словом, и пером, — так пусть же теперь, когда его нет на свете, имя его и память о нем продолжают служить благородному делу защиты мира во всем мире!*

*Наталья Кончаловская*

## Портрет

Из детства моего, когда мы жили в Москве на Большой Садовой улице, запомнилась мне женщина, приносившая нам зимними утрами молоко. Она вносила в переднюю нашей квартиры грохот бидонов и здоровый острый запах скотного двора, смешанный с морозной свежестью. И никто не знал, какого она возраста и какой масти, — так была она укутана в серый пуховый платок, закрывавший пол-лица, словно у нее всегда был флюс. Женщина сипло шепелявила: «Мо-о-ошко при-мите!» Отмеряла самодельной жестяной кружкой молоко, получала деньги и уходила...

Вот на эту самую женщину была я похожа, когда впервые вошла в кабинет Александра Александровича Вишневского в клинике на Большой Серпуховской. С больным зубом, повязанная пуховым платком до самых глаз, пришла я проведать своего мужа, Сергея Владимировича Михалкова, с которым случилась весьма курьезная история.

Было это в 1949 году. Сергей вдруг почувствовал какие-то боли в боку. Наслышанный о клинике Вишневских, он решил поехать туда и, пробившись в кабинет Александра Александровича, попросил себя осмотреть. Вишневский уложил Михалкова на диван.

Через несколько минут они уже были на «ты», как старые друзья.

— Нет у тебя ничего особенного! — заявил профессор.

— А я тебе говорю, есть!.. Ты только вскрой! — настаивал Михалков.

Немного поспорив, Александр Александрович пригласил в кабинет своих коллег. Они по очереди осмотрели Михалкова и заколебались, не видя причины

класть его на операционный стол. Он же настойчиво уверял, что у него аппендицит. Вишневский насторожился, почувствовал, что, видно, это все-таки неспроста, и уступил:

— Ладно! Кладите его в палату и готовьте к операции.

На следующий день Вишневский оперировал мужа, и, как ни странно, оказалось — у него гнойный аппендикс...

И вот я в клинике, жду в приемной профессора. Наконец секретарша пригласила меня в кабинет, и я увидела невысокого человека в белой рубашке с короткими рукавами и в синих брюках с красными лампасами. Он сидел за столиком и пил черный кофе, — видимо, после операции.

— Здравствуйте, — прошамкала я. — Я жена Михалкова.

— А-а-а, очень приятно... Здравствуйте... — недоверчиво протянул Вишневский, с удивлением разглядывая половину моего закутанного лица. — Что это вы так укутались, флюс, что ли?

— Флюс, — мрачно подтвердила я. — А что с моим мужем?

Александр Александрович внезапно оживился, встал из-за стола, подошел к огромному шкафу, где на полках стояли какие-то заспиртованные в баночках экспонаты, и показал на одну из банок.

— Вот полюбуйте, что я извлек из живота вашего супруга. Пойдемте, я провожу вас к нему. — Он допил кофе, накинул халат, и мы пошли просторными коридорами бывшей богадельни, в которой ныне царствовала хирургия, в палату, где лежал Сергей Владимирович.

В следующий раз я пришла в клинику уже без платка, и Александр Александрович встретил меня веселым восклицанием:

— Так вот вы какая! А похожа, похожа...

— На кого похожа-то?

— Да на свой портрет в Третьяковке, с тужелькой! Я ведь помню его... Ну, пойдёмте к баснописцу, он уже совсем в порядке, скоро мы его вам вернём.

На этот раз Александр Александрович был в генеральской форме. Он собирался куда-то ехать по делам. Небольшая ловкая фигура его легко и энергично двигалась среди врачей в белых халатах, сестер и нянь, снующих по огромному зданию клиники.

Так произошло мое знакомство с Вишневым — воином, генералом, хирургом, ученым. Я украдкой разглядывала его, и чувство большого уважения, интереса и даже какой-то робости охватывало меня. Позже, когда мы познакомились ближе и подружились, я научилась видеть в этом, на первый взгляд резком и вспыльчивом человеке такое гуманное и нежное сердце и такой неисчерпаемо добрый ум, что раз и навсегда полюбила его и гордилась своей дружбой с ним.

Этот человек, смолоду ежедневно проводивший многие часы в операционной, не замыкался в своей узкопрофессиональной среде. Он интересовался литературой, театром, музыкой, искусством, спортом. Это я хорошо поняла, когда впервые за нашу многолетнюю дружбу попала в клинику к Вишневскому уже как пациентка.

Лежать предстояло две недели, и я взяла с собой в клинику клавир оперы Моцарта «Дон-Жуан»: мне было поручено сделать для Большого театра новый перевод.

Лежа на спине и устроив на поднятых коленях клавир, я искала слова, которые не только передавали бы смысл подлинника, но и укладывались бы в моцартовские мелодии.

Александр Александрович интересовался моей работой и часто по вечерам перед уходом из клиники заглядывал ко мне в палату — поговорить, отвлечься от напряженной атмосферы операционной, от



человеческих страданий и постоянной ответственности за жизнь своих пациентов, за клинику, которой он руководил. Удобно устроившись возле моей кровати, он расспрашивал:

— А как же это ты без звучания мелодий, без проверки переводишь такие трудные партии?.. А все ли нужно наново переводить? Может быть, что-нибудь остается в старом варианте?.. Ведь певцы-то, наверно, привыкли к своим текстам за много лет? А кто переводил старый текст?

— Тютюнник.

— А сколько лет он существует?

— Да лет сто уже.

— Подумать только, и надо все наново переучивать?

— Надо, ведь старый текст теперь кажется неуклюжим и смешным, подчас и понять нельзя, что хотят выразить певцы. Кроме того, есть и иные прочтения текста, которые раскрывают более интересный и точный смысл.

Александр Александрович задумывается и вдруг с надеждой спрашивает:

— Ну хоть что-то остается от привычных для нас всех знаменитых арий?

Мне хочется смеяться от удовольствия, я восторгаюсь его приверженностью к старинным оперным традициям, и я утешаю профессора:

— Остается, Шурочка. Есть неизменные тексты оперных арий, например, ария Дон-Жуана:

Чтобы кипела кровь горячее,  
Ты веселее праздник устрой...

Или арии Лепорелло, так называемого «Списка Дон-Жуана». — И я напеваю профессору эту арию:

Вот извольте, этот список красавиц  
Я для вас, так и быть уж, открою,  
Он записан моей рукою —  
Вы глядите, следите за мной;  
Их в Италии шестьсот было сорок...

Александр Александрович, улыбаясь, качает в такт головой — видно, помнит эту мелодию, — он очень доволен. Так почти ежевечерне профессор забегают поговорить со мной, интересуется, что творится в мире «творческих работников», хотя более творческой жизни, чем жизнь хирурга, я не знаю. Тут частенько бывает так, что человеку дают вторую жизнь, и талант врача, не считая его опыта, знаний и мастерства, решает все.

Однажды Александр Александрович сказал мне, что хирургами не рождаются, а делаются. Я отвечала: Флобер тоже утверждал, что гений — это терпение. Профессор любил поговорить о жизни писателей, художников, артистов, тем более что многие люди из этого мира со своими недугами обращались именно к Вишневым — к кому-либо из этой знаменитой врачебной династии.

Как-то во время такой беседы Александр Александрович спросил:

— А вот скажи ты мне, пожалуйста, откуда возникает мысль у художника написать чей-нибудь портрет? Что, так сказать, является импульсом? Что это за процесс?

Я попыталась изложить ему какие-то свои соображения по поводу разного мироощущения у разных художников, а потом представила себе, что могло бы привлечь живописца в этом своеобразном невысоком человеке с гладко выбритой головой, словно крепко ввинченной между высокими плечами, с кожей цвета слоновой кости, темными глазами и нежной улыбкой в уголках небольшого рта.

— А хотелось бы тебе, Шура, чтобы мой отец, Петр Петрович, написал твой портрет?

— Ну что ты! — смутился Вишневский. — Я не так уж красив, да и ростом не вышел...

Но случилось так, что на следующий день мои родители пришли навестить меня как раз в час утреннего обхода профессора. Он стремительно вошел в палату. Из-под сверкающего белизной халата были видны его генеральские брюки, синие с красными лампасами. Рукава были завернуты и открывали его красивые смуглые руки, с почти женской округлостью от кисти до локтя.

Мой отец, Петр Петрович, привстал с кресла у окна, а Ольга Васильевна — моя мама, сидевшая возле меня, весело улыбнулась. Она очень ценила и уважала Александра Александровича. Он поздоровался с родителями и, облокотившись о спинку моей кровати, принялся занимать гостей, как радушный хозяин. Кивая на моцартовский клавир, с улыбкой сказал отцу:

— Вот, смотрите, Петр Петрович, какие дела творятся! Сам Дон-Жуан поселился на Большой Серпуховке!

Все рассмеялись, завязалась живая беседа, и вдруг Петр Петрович внимательно посмотрел на профессора и сказал:

— А вас было бы хорошо написать, Александр Александрович. Вот так, как вы сейчас стоите... в рост. Как вы думаете?

Александр Александрович метнул в мою сторону взгляд за сверкающими стеклами очков и, улыбнувшись своей улыбкой фавна, ответил:

— Ну что же, Петр Петрович, я был бы счастлив...

Вишневский напрасно подозревал меня в сговоре с отцом — для меня его предложение было неожиданным.

Решили не откладывать дела в долгий ящик. Отец несколько раз приезжал делать зарисовки. Но ему

захотелось посмотреть Вишневого за операционным столом. Я к этому времени поправилась, и мы были приглашены на одну из операций. Профессору предстояло оперировать больного с неточным диагнозом.

В назначенный день, надев халаты и шапочки, нацепив на лица марлевые маски, натянув на обувь бахилы, мы с Петром Петровичем вошли в святая святых хирургического отделения.

Отец сел у окна на табуретке, спиной к свету, и развернул свой блокнот для рисования, а я забралась как амфитеатр — на места курсантов и врачей ЦИУ [\[1\]](#). То, что я увидела, запомнилось мне на всю жизнь.

Это было невероятное сочетание: искусства — с математической точностью, неумолимого вторжения в тайны организма — с пластикой и изяществом движений, смелости и решительности — с осторожностью и гуманностью. И обстоятельность! Обстоятельность, которая начиналась с мытья рук. Александр Александрович, сидя на вертящемся стуле перед умывальником, тщательно мыл руки. Он мыл их минут пятнадцать мылом и щеткой, растирая руки мыльной пеной. Он разговаривал с ассистентами, делал указания, советовался с ними, и по всему чувствовалось, что он несколько возбужден.

— А все же я думаю, что это не грыжа. Нет. Не то! — говорил он, подходя к операционному столу, на котором лежал подготовленный к операции пожилой мужчина. И, заметив настороженность в глазах помощников, добавил: — Ну ладно, ладно. Вскроем и поглядим, что там такое...

Громадный круг лампы ярко освещал прямоугольник желтоватой кожи. Все остальное было закрыто белыми простынями (тогда в операционных пользовались белыми простынями и халатами, теперь они — зеленого цвета). За этим прямоугольником — очередная тайна,

которую предстояло раскрыть людям в марлевых масках, склонившимся над столом. И каждый раз — ответственность, каждый раз — неизвестность, каждый раз — риск. Ведь, казалось бы, человеческий организм создан природой по единому образцу. И болезни будто уже известны испокон веков, а на деле каждый человек со всем его внутренним устройством неповторим.

Наконец все готово. Работает какая-то сложная аппаратура, поблескивая никелем трубок, кранов, счетчиков... Вытянув перед собой руки, смоченные каким-то составом, профессор подходит к столу.

Я смотрю на непривычное для меня лицо Александра Александровича — он без очков. Он близорук и потому снимает очки на время операции, и тогда лицо его принимает выражение особой напряженности и внимания.

Оно вдохновенно и торжественно. Говорит он коротко, с выкриком, то весело» бодро, а если видит что-то неожиданное в процессе работы, то нараспев, мягко:

— Ты смотри-и-и, какая здесь, оказывается, исто-о-рия!..

Команда профессора четкая:

— Крючки!.. Зажимы!.. Пинцет!.. Живо!.. Прямей держи крючок, чтоб не съезжал... — Вообще-то профессор во время операции иной раз был довольно резок, но в этот раз, видимо, в присутствии Петра Петровича, он был корректен.

А над столом споро и четко двигались руки медсестер в резиновых перчатках, подавая инструменты.

В это время интересно наблюдать за лицами ассистентов. Под масками, за спокойствием и выдержкой перед каждодневным процессом вторжения в область неизвестного — всегда сознание ответственности, и, чем талантливее врач, тем глубже это его сознание...

Операция закончена. Профессор отходит от стола, предоставив ассистентам заниматься наложением швов. Он серьезен и даже удручен: у больного неоперабельный рак.

— Я ведь чувствовал это, — говорит он, снова намыливая руки, — но всегда хочется надеяться на лучшее. Вот ведь как можно ошибиться... Лечили от колита, прощупывали грыжу, а вскрыли — вот тебе, пожалуйста: обширнейшая раковая опухоль!

Вишневский подходит к моему отцу, уже закрывшему свой большой блокнот для рисования.

— Вот такая у нас работа, дорогой Петр Петрович. И это еще не все. Там, внизу, ждут жена и дети больного, и мне надо будет с ними говорить. Это иной раз труднее, чем сделать операцию!.. А сейчас пройдемте ко мне в кабинет и выпьем по чашечке кофе.

И они, сняв в предоперационной халаты и бахилы, выходят в длинный коридор, и я вижу, как они медленно движутся по нему — крупный и высокий Петр Петрович, сложив руки за спиной, внимательно поглядывает на невысокого, но значительного в своей военной выправке Александра Александровича, который энергично жестикулирует, что-то рассказывая. Временами они останавливаются друг против друга, и я вижу их силуэты на фоне дальнего окна.

Портрет Вишневского вынашивался долго. Вначале предполагалось изобразить его за операционным столом, но неинтересно было писать лицо, закрытое маской. Потом продумывался костюм. Были сделаны наброски портрета в белых штанах и бахилах, но это показалось скучноватым по цвету. И Петр Петрович решил писать Вишневского в генеральских брюках с лампасами.

Когда поза была найдена и портрет скомпонован, Вишневский стал ездить в мастерскую отца на Большую

Садовую. Там, стоя в своем синем халате перед мольбертом, Петр Петрович продолжал живое общение с Александром Александровичем, изучая его и находя все новые и новые черты характера в подвижном, выразительном лице этого замечательного человека.

Впоследствии я спрашивала Александра Александровича, о чем они разговаривали во время сеансов.

— С Петром Петровичем общаться было необычайно интересно, — рассказывал Вишневецкий, — но у меня было такое впечатление, что он никогда не разговаривал только ради поддержания беседы. Если он говорил о чем-нибудь, то, значит, это его в самом деле интересовало. И его живой интерес передавался собеседнику. Если же ему было неинтересно, то он терпеливо и учтиво слушал. А у нас с Петром Петровичем одна общая страсть — охота. Ну конечно, с увлечением вспоминали о тягах, об осенних перелетах, о зимней охоте на зайца. Он рассказывал о старинной охоте с гончими и описывал ярко и красочно то, что видел в юности... Ну а потом он мне многое разъяснял о творчестве художника. Вспоминал своего тестя — художника Сурикова, которого очень любил, рассказывал о Шаляпине, о Коненкове, о Москвине и Качалове, о знакомых художниках и актерах. Ну для меня, конечно, открывалось многое, о чем я не имел представления. Ведь Петр Петрович по-особому видел и ощущал жизнь и людей...

По правде говоря, художнику трудно занимать модель разговорами — работа над портретом требует от него такого внимания и напряжения, такой собранности, пожалуй, как и от хирурга у операционного стола. Но если, между моделью и художником возникли скука и утомление, то Петр Петрович обычно начинал «заводить» модель разговором на какую-нибудь свежую тему.

Александра Александровича не надо было «заводить», он приезжал ненадолго, всегда «заведенный», полный впечатлений от событий дня. Энергия исходила от всей его складной, тренированной фигуры, звенела в высоком голосе и веселом смехе...

Я люблю этот портрет. Вишневский стоит еще в халате с завернутыми рукавами. У ног его лежат только что скинутые белые штаны и бахилы. Контрастом — из-под белого халата красные лампасы на синих брюках.

А как любовно, как мягко написаны обнаженные руки, как энергично его еще молодое лицо. В нем блеск ума ученого, решимость военного и большое человеческое обаяние. В нем отражены не увядающие ни со временем, ни с возрастом талант и душевное богатство Александра Александровича. И потому я ставлю этот портрет работы моего отца — Петра Петровича Кончаловского в начало рассказа о Вишневском.



## **А. В**

Мы сидим с Машей Вишневской у нас в кабинете, на улице Воровского. Я гляжу в ее черные, узкого разреза, глаза за выпуклыми стеклами очков и думаю: «До чего же ты похожа на отца, Машенька!» Тот же удлинённый нос, тот же изгиб небольшого рта, та же нежная улыбка. И мне нравится разглядывать ее и искать сходство с Александром Александровичем.

— Маша, а ты помнишь своего деда?

— Деда?.. Ну конечно, помню... Я его помню лучше, чем отца, который редко бывал дома. В самых первых моих воспоминаниях дедушка — это большой человек, элегантно одетый, чисто выбритый и даже надушенный. Я хорошо помню, как мы с мамой приходили к нему обедать, и он в толстом джемпере верблюжьей шерсти сидел у себя за рабочим столом. Тетя, Наталья Александровна, посылала меня к нему в кабинет: «Пойди поздоровайся с дедушкой». И я шла волнуясь. Он был всегда так серьезен и торжествен, что у меня каждый раз билось сердце, когда я подходила к нему на цыпочках. А он, заметив меня, благосклонно подставлял мне выбритую щеку и потом молча целовал меня, тогда еще единственную внучку. Ему, такому доброму и мягкому в обращении с людьми, видимо, нравилось разыгрывать этакую недоступность.

Это было в 1935 году, вскоре после моего рождения. Наша семья переехала тогда в Москву из Ленинграда, где отец, Александр Александрович, работал в военно-медицинской академии у анатома Тонкова. Мать моя, Варвара Аркадьевна, там же преподавала английский язык, кроме того, она была первой теннисисткой Ленинграда и тренировала Александра Александровича в игре в теннис. На корте они и подружились, потом

сблизились и поженились. Мне было всего три недели, когда дедушка выписал нашу семью в Москву. Жили тогда дедушка с бабушкой в старинном квартирном доме на Новинском бульваре, а мы поселились по соседству, в доме-пароходе, как он назывался из-за своей модернистской архитектуры.

Для отца моего квартира Александра Васильевича была родным домом, он всегда заходил туда то за советом, то помочь в чем-либо, то просто, когда соскучится. И были они неразрывно связаны и общим делом, и взаимной любовью.

— Ну а к тебе, Маша, к внучке, как относились дед с бабкой? Баловали тебя? Дедушка тебе сказки рассказывал?

— Сказки? Нет, никогда. Ни он, ни бабушка меня не баловали. Бабушка Раиса Семеновна вообще была замкнутой. Помню: очень красивая, статная, сдержанная на ласку, всегда со всеми ровная, холодновато-деликатная. О баловстве и речи не могло быть. Но настроение у них в доме всегда было радушное, спокойное и бодрое.

Дедушка любил шутку и смех. Он отлично пел, голос у него был хороший, баритон. Он и вообще имел пристрастие к музыке. Помню такой случай: как-то, придя в гости к бабушке, я села за рояль и принялась играть этюд Глиэра, а училась я музыке в школе Гнесиных, она тогда была еще на Собачьей площадке. Я играла, а дедушка лежал у себя в спальне, отдыхал после работы и слушал мою игру. Когда я закончила, он вдруг окликнул дочь:

— Наташа, зачем ты радио выключила, дай еще послушать!.. — Видимо, сквозь дрему он принял мою игру за музыкальную радиопередачу, и я, конечно, была невероятно горда, что сошла за профессиональную исполнительницу...

Я слушаю Машу, и передо мной всплывает образ Александра Васильевича — родоначальника «хирургии по Вишневскому», человека большой культуры, создавшего в Казани, где он проработал 35 лет, свою школу и подготовившего целую плеяду талантливых хирургов-ученых, верных традициям своего учителя — виртуоза в искусстве хирургии.

Вишневские. Откуда родом эти люди? Биографы выяснили, что эта фамилия возникла случайно: «... Известно, что в 50-е годы XVIII века в Саратовскую духовную семинарию поступил некто Василий Зубарев, который, по существовавшей в то время в бурсах традиции, был наречен Вишневским... Это был прапрадед Александра Васильевича Вишневского. Он обосновался в Саратове, где жили потом и сын его, и внук Василий Васильевич — штабс-капитан 82-го пехотного Дагестанского полка.

Василий Васильевич рос в традициях семьи Чернышевского, с которой в Саратове Вишневские были связаны дружбой. Это, несомненно, наложило отпечаток на формирование молодого Вишневского: он рос «бунтарем», был исключен из саратовской гимназии за бунт против начальства и сослан простым солдатом на Кавказ, где шла в то время упорная борьба с англо-турецкой экспансией. И в боях с мюридами в 1860 году, когда был уже захвачен Шамиль, Вишневский получил за отличие в сражении первый офицерский чин прапорщика. Он остался служить в армии на Кавказе, дослужился до командира и слыл справедливым, отзывчивым к солдатским нуждам, был любимцем своего полка. Там женился он на дочери местного священника Соколова, Алене Антоновне, там и родился у них сын Александр.

Мальчик рос в армейской среде, характер его складывался в атмосфере строгой дисциплины и чувства ответственности за каждое порученное дело. Это

чувство ответственности он пронес через всю свою жизнь.

С детства он видел тяжелую солдатскую долю, дружил с солдатами. Он ходил на рыбную ловлю и на охоту, знакомился с дикой природой Кавказа.

Учиться его отправили в Астрахань, в гимназию. Он оказался один, без семьи, предоставленный самому себе. Там он навек подружился с Волгой. Там и укрепились в его характере поистине русская широта духа, свободолюбие, могучая воля и те взгляды русской интеллигенции конца XIX века, которой чужды были националистические тенденции, царившие в реакционных кругах. У него были друзья среди персов, армян, татар, калмыков; он интересовался характерами и способностями людей разных национальностей и уважал их обычаи. Вот любопытная выписка из характеристики молодого Вишневого, окончившего гимназию в 1893 году:

«Вишевский Александр обладает довольно хорошими способностями... Нравственная сторона развития ученика всегда признавалась удовлетворительной. Он всегда был отзывчивым, когда обращались к этой стороне его психической жизни: доброе, сердечное слово влияло на него сильнее строгих карательных мер... За все время обучения в гимназии состоял певчим в гимназическом хоре...»

Нравственная сторона развития, мышление молодого человека, оторванного от семьи, формировались в свободном и гуманном отношении к окружающему его миру. Вот, может быть, почему позднее, поселившись в Казани, где он провел университетские годы, избрав поприще врача, и где закончил медицинский факультет, взял в жены девушку необычайной судьбы.

Это была дочь разорившегося караима, табачного фабриканта, девушка поразительной южной красоты. Она была взята в компаньонки богатой казанской

барыней, которая, брезгуя ее еврейским происхождением, окрестила ее. Ей дали отчество — Семеновна вместо Самойловны и светское, по казанским представлениям, воспитание. Александр Васильевич счастливо прожил с нею всю свою жизнь.

Казань!.. Колыбель целой плеяды русских деятелей, либо выходцев из Казани, либо там начинавших свой путь в первой казанской гимназии, первом университете, первом театре...

Я представляю себе эту смесь помещичье-дворянского и купеческого благополучия с убожеством и нищетой татарских и рабочих слободок на окраинах города, где люди жили среди свалок нечистот, чуть ли не на болотах, и где сами улицы назывались в соответствии с бытом: «Грязнушка первая», «Грязнушка вторая», «Мокрая передняя», «Мокрая задняя»... А в центре города красовались роскошные особняки с гротами и зеркальными стенами, со всем нагромождением провинциальной безвкусицы купеческого быта, со множеством ресторанов, гостиниц, пивных, игорных домов, с садами и парками. И богатое православное духовенство в монастырях и церковных приходах прославляло себя звоном сорока колоколен, плывущим над Казанью, а в небо упирались тридцать мечетей богатого мусульманского духовенства.

Казанский университет. Он был основан в 1804 году и стал центром просвещения Восточной России. Рядом с дворянской, чиновничьей и купеческой Казанью стала подниматься Казань демократической интеллигенции, стремившейся к свободе, к культуре, науке, искусству. В казанском театре начинали свой творческий путь корифеи русской сцены — Щепкин, Савина, Самойлов, Давыдов и Варламов, а потом и Качалов, и Комиссаржевская, и родившийся в Казани Шаляпин...

Горький проходил здесь свои «университеты», и многие рассказы его были написаны в Казани.

А в 1887 году учился в Казани семнадцатилетний Ленин и был арестован за организацию студенческой демонстрации и выслан в деревню Кокушкино. Он вернулся в Казань через год без права окончания университета, жил в домике на Первой горе и занимался самообразованием. Здесь, в Казани, он вступил в первую марксистскую организацию Федосеева...

Казанский университет издавна считался «бурлящим», очагом революционного движения. Студенты там постоянно выступали против устаревших методов преподавания, и часто демонстрации их переходили в политические, уже связанные с демократическими рабочими кружками.

Медицинский факультет Казанского университета был одним из ведущих центров русской медицины, оттуда вышли прославленные ученые: физиолог Ковалевский, клиницист Виноградов, психоневролог Бехтерев, а в 1883 году профессором Елачиным была открыта университетская хирургическая клиника, ставшая впоследствии медицинским центром всей Восточной России, Поволжья и Сибири.

Осенью 1894 года в Казанский университет подал прошение Александр Васильевич Вишневский, он был принят на медицинский факультет — с этого момента жизнь его стала принадлежать науке. Хотя он воспитывался вне всякого влияния буржуазного общества, не отличался бунтарскими качествами и по характеру был очень спокойным и уравновешенным юношей, но была в нем глубокая и серьезная страсть к научным исследованиям, и поначалу предметом ее стала анатомия.

Ему нравилось даже само здание анатомического театра — великолепной классической архитектуры, — и он бежал туда в перерывах между лекциями. Он любил своего профессора анатомии Фортунатова, который убедил его в необходимости досконально, скрупулезно

точно изучить строение человеческого тела. И это оказало Александру Васильевичу неоценимую помощь в его научных изысканиях в области анатомии.

И для меня, пишушей эти строки, вырисовывается характер этого человека (которого мне не довелось узнать, потому что пришла в клинику уже после его смерти) — характер, по рассказам всех знавших его, удивительный: необычайно мягкий, сердечный и в то же время волевой и мужественный.

Патология — это наука об отклонениях от нормы в человеческом организме, но если взять истоки этого слова, то «патос» по-гречески «страдание», стало быть, «патология» — «наука о страдании». И к Александру Васильевичу как нельзя более пристало это занятие: облегчить человеку страдание. Уже будучи блестящим хирургом, Александр Васильевич поражал своих студентов не только глубокими знаниями терапии и диагностики, но и умением разговаривать с больным, вникая в психику каждого «страдальца».

Занятия в Казанском университете вели в те времена ученые первой величины, и каждый студент проходил отличную школу по всем дисциплинам — и у теоретиков, и у клиницистов, и по внутренним и нервным болезням, ибо изучение нервной системы всегда было в центре внимания казанских ученых. Виднейшие профессора вели курсы теоретической и оперативной хирургии. Теоретическое преподавание совмещалось с практическим под руководством образованных врачей, опытных практиков и передовых ученых, постоянно ищущих новых путей и воевавших с консерватизмом в медицине и биологии.

Жилось Александру Васильевичу трудно, голодно. Приходилось делить со студентом — товарищем по комнате — не только еду, но и пару сапог и одежду. Стипендии не было, она давалась казанскими меценатами лишь студентам из духовного сословия,

предоставившим свидетельство о несостоятельности родителей. Александр Васильевич был вынужден подать прошение об освобождении его от платы за обучение на 1896 год. Правление медицинского факультета освободило Вишневого от платы, считая его одним из наиболее талантливых учеников факультета.

В ноябре 1899 года Александр Васильевич получил диплом лекаря с отличием, а уже в октябре выдержал экзамен на звание уездного врача. Он остался в Казани сверхштатным ординатором в хирургическом отделении городской больницы, но анатомию не бросал, он свято верил пиროговскому тезису: «Нет медицины без хирургии, как нет хирургии без анатомии!» И потому, когда любимый его учитель, профессор Геркен, предложил ему стать сверхштатным помощником прозектора без содержания на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией, Александр Васильевич с радостью принял это предложение: пиროговский метод распознавания очага болезней среди тканей — топография анатомии — интересовал Александра Васильевича так же, как когда-то топографическая разведка расположения противника интересовала его отца, Василия Васильевича — командира роты Дагестанского полка.

Должность на кафедре все же мешала Александру Васильевичу оперировать, применять на практике то, что он постиг в науке, и это его крайне беспокоило. Но и здесь он нашел выход: во время отпуска он начал разъезжать по земским больницам, где не хватало врачей-хирургов. Вот тут-то он и получил огромную практику, выполняя операции всякого рода, даже самые сложные. Работать приходилось в самых отдаленных и заброшенных уголках России, где царствовали беспросветная темнота, нищета и убожество. Надо было выезжать в районы, где свирепствовали эпидемии, и работать в тяжелейших условиях: оперировать на



деревянных столах при свете свечей и керосиновых ламп. И Александр Васильевич, разрабатывая свои методы в этих тяжелых условиях, облегчал работу сельским хирургам, этим подлинным труженикам.

Так шел этот замечательный человек и выдающийся ученый своим тернистым путем, преодолевая множество преград, постоянно совершенствуясь и страстно веря в необходимость своих методов, чем немало удивлял своих коллег. Шел всегда к намеченной цели путями, тщательно изученными и заранее им подготовленными. И было в нем удачное сочетание рационального мышления со страстностью натуры, постоянно сдерживаемой волей и твердостью характера.

## Дом в Казани

Маленькая женщина с большими темными глазами, всегда встревоженными. Густые седые волосы зачесаны прямо, нос продолговатый и широкий, как у отца, и улыбка мягкая, как у него. И вообще она больше похожа на Александра Васильевича, чем на Раису Семеновну.

Это их дочь Наташа — Наталья Александровна Вишневская. Она врач — отоларинголог. С ней мы проводим вечера в беседах о ее родных, в поисках образов, характеров, событий. Мы рассматриваем старинные пожелтевшие фотографии с маркой «И. Якобсон. Казань».

Вот молодая Раиса Семеновна с замкнутым, чуть испуганным, красивым лицом. И даже на снимке видно, что у нее матовая смуглая кожа, а в темных волосах, постаринному расчесанных на прямой пробор, лежат аккуратные канавки от щипцов. Целомудренная белая батистовая кофточка застрочена в мелкую складочку.

Справа сын — Шура, слева дочь — Наташа. Шуре лет десять, он покровительственно обнял мать за плечо. Личико у него красивое, упрямое, резко очерченное даже в своей детскости. А Наташа — прелестная смуглая девочка лет шести, с двумя косичками, весь облик ее полон хрупкости и какой-то душевности, Александр Васильевич не зря постоянно повторял: «Она такая кроткая, боюсь я за нее, как бы кто ее не обидел!..»

А вот еще одна фотография: Александр Васильевич с Шурой. На Александре Васильевиче черное шикарное пальто, бархатный жилет в звездочку, модные узкие брюки, лакированные штиблеты, трость с серебряным набалдашником, на голове — котелок. Черные пушистые

усы расчесаны «по-мопассановски». Ну, вылитый француз начала XX века.

— Это снято, когда он вернулся из Парижа, он там два года работал по заданию Мечникова в Пастеровском институте, — говорит Наталья Александровна. — Посмотрите, каков здесь Шурка!

Рядом с отцом младший Вишневский — герой этой книги, тогда Шурка. На нем черный бархатный костюмчик с белым вышитым воротником, белый пояс, белые башмачки, белые носки и белая соломенная шляпа на темных блестящих волосах, и лицо такое же волевое: «Знаю, чего хочу!» А ведь ему всего четыре года было!

А вот еще забавная фотография: на бутафорской скамейке сидит бабушка — Елена Антоновна, за ней бутафорский пейзаж с гладью пруда, античной колоннадой, с купами деревьев — рай, да и только! А рядом стоит трехлетний Шура, в пелеринке, в соломенной шляпе. В руке у него пучок искусственных цветов и точно такой же на большой шляпе у бабушки, словно внук положил ей на шляпу часть своего букета. Бабушка в бурнусе с бархатным воротником, руки сложены на коленях, а лицо благодушное и терпеливое, светлые глаза глядят спокойно. Это мамаша Александра Васильевича...

Наталья Александровна рассказывает:

— Шура родился в 1906 году в Казани в доме на Воскресенской, теперь это улица Ленина. Этот дом и сейчас цел, мы жили в нем долго — это было удобно отцу. Университет рядом. Близко и Кремль со знаменитой башней Суяубеки.

Но себя я помню, когда мы уже переехали на Грузинскую, в большую восьмикомнатную квартиру, там у отца был кабинет и приемная для больных — ведь он занимался и частной практикой. Там были у нас с Шурой две детские комнаты — в одной спали, в другой играли и

учились. А еще столовая, гостиная, спальня родителей. Но незадолго до революции отец купил небольшой особняк с мезонином на Старо-Горшечной улице. При доме был флигель, каретный сарай, большой двор и за домом сад. Во флигеле постоянно жил кто-нибудь из наших друзей, а когда появились автомобили, то там поселился наш шофер с семьей.

Мы с Шурой были очень разные: я была чрезвычайно робка и застенчива, Шура, наоборот, был энергичным, предприимчивым, пытливым и волевым. С детства у него была страсть к животным и птицам.

Птиц он любил так, что вечно в детской у нас были клетки с чижами, дроздами, канарейками, щеглами. Шура сам за ними ухаживал, кормил, чистил клетки, и однажды, когда на птиц напал пероед и они начали терять оперенье, Шура решил их подлечить и произвести дезинфекцию, о которой нередко слышал в разговорах взрослых. Он раздобыл спирт и протер им всех птиц; В результате птицы подохли, и Шура в большой горести торжественно похоронил их в саду.

Однажды нашему шоферу привезли медвежонка, И он, к великому нашему восторгу, подарил его нам, детям. Мы поместили зверька в каретнике, возились с ним, играли, кормили его, но, как только он подрос, начал нападать на кур и уток. Шура сам вырыл прудик в саду, чтобы наблюдать, как начинают плавать утята, которых он выращивал целыми поколениями. И когда медвежонок стал таскать утят, пришлось с ним расстаться.:

А еще мы всегда держали собак, у нас было пятеро бульдогов. Когда наша любимица Тэпка должна была щениться, мама выпустила ее в сад, и она куда-то запропастилась. Когда же в вечеру Тэпка вернулась, то все заметили, что она сильно «похудела». Стало ясно, что Тэпка ощенилась. Шура кинулся в сад, обшарил все закоулки и нашел в заброшенной конуре Пятерых

окоченевших щенков. Он принес их домой, и мы принялись отогревать их, четырех спасли, а пятый так и погиб.

Пришло время резать им хвосты и уши, и это, пожалуй, были первые «хирургические операции» в нашей с Шурой жизни...

Наталья Александровна замолкает, раскрывает свою сумку и вынимает рукопись.

— Я принесла вам воспоминания одной нашей подруги детства, Тамары Васильевны Чирковской, теперь она доцент педагогического института. Я просила ее вспомнить что-нибудь из Шурино детства, и вот что она написала. Послушайте, как это занятно:

— «Шурка был независимым с самого раннего детства. Помню его трехлетнего в синей пелеринке и тирольской шапочке. Я гляжу в окно и вижу, как он бежит по улице, обгоняя няню, и вскакивает на тумбы. Потом они подходят к нашему дому. Потом следует сильный, прерывистый звонок. — Кто там? — спрашивает наша няня. — Это ля! — отвечает Шурка, он вместо «я» говорил «ля». Няня отворяет дверь.

— Ты что же, совсем один, Шурочка?

— Да, один!

— Какой молодец! — шумно восхищается наша няня.

Шурка бежит в комнаты, она отворяет дверь Шуриной няне, и спектакль продолжается.

— А вы нашего Шурочки не видели?.. Пропал мальчик. Не знаю, где искать!..

Тут с криком выскакивает Шура, страшно довольный, что ему удалось всех провести. И это повторялось каждый раз, когда его приводили к нам.

Самое интересное для Шуры было что-то придумать, чтобы удивить всех и нарушить обычный порядок. Если мы играли в «кошки-мышки» и ему выпадала на «считалочке» роль мышки, то он уже не мог этого вынести и немедленно предлагал: «Пусть в этот раз

«мышка» ловит «кошку!»» И тут же бросался ловить «кошку» — толстенную девчушку.

Двух наших такс он приучил брать поводки в зубы и с рычанием носиться по нашей квартире, а мы держались за поводки и воображали, что мчимся на паре лошадей. Но Шуре этого было мало, он решил, что кони должны быть взмыленными, и тогда мы развели зубной порошок, и Шура вымазал черных такс, и мы, к ужасу мамы, носились по квартире на «взмыленных конях».

Часто мы играли втроем: Шура, Наташа и я. Любимой игрой был «полёт на аэроплане». «Летчику» завязывали глаза, сажали на табурет, который мы начинали раскачивать, потом кричали: «Потолок!» — и в эту минуту хлопали «летчика» книжкой по макушке.

Была у нас и еще одна игра — в «больницу». На нашем дворе лежали — одно на другом — громадные бревна. Одно бревно называлось «холера», другое — «корь», третье — «дифтерит», были еще и «малярия» и «скарлатина». Надо было пробежать по бревну и не свалиться, это называлось «болеть». Игра была опасной, бревна каждую минуту могли скатиться и придавить нас. Но все обходилось благополучно.

Играли мы очень дружно, но если девятилетний Шура в Лядском саду, гуляя с мальчиками, встречался со мной, то предпочитал не узнавать меня, видимо стесняясь перед товарищами дружбы с девчонкой.

Шура был отчаянным драчуном и храбрецом, в драку он вступал первым. Помню, однажды на прогулке, это было на даче под Казанью, кто-то из ребят заметил змею, все в ужасе остановилось, один только Шура, схватив палку и ловко орудуя ею, убил гадюку, хотя очень любил животных и постоянно наблюдал за ними».

Мне, пишущей эти строки, кажется, что, если бы девятилетний Шурка увидел, что кошка сцапала воробья, он непременно сказал бы: «Ах ты негодная!»,

но никогда не расправился бы с нею и не позволил бы никому другому.

Александр Васильевич постоянно занимался спортом. В его кабинете были ввинчены в притолоку кольца для гимнастики, на них ежедневно отец и сын проделывали различные упражнения. Александр Васильевич считал, что физическое развитие необходимо в любой профессии, а в хирургии — особенно, и так как он был волжанином, то первое место у Вишневских занимали гребля и плавание. Александр Васильевич с Шурой и с друзьями запросто переплывали Волгу! Правда, рядом всегда плыл «дежурный» ялик — на всякий случай.

# Что помнят друзья

## *Фрагмент первый*

«Давным-давно в детской купальне в селе Верхний Услон, что на Волге, где мы снимали дачи, черноволосый худенький мальчик, визжа, плескался в воде, что, впрочем, делал и я, — пишет художник Борис Константинович Винокуров. — Когда я напоминал об этом Александру Александровичу, уже сидя у него в клинике, в кабинете, он, сверкая очками, сердито кричал на меня: «Я визжал? Никогда я не визжал, я просто возмущался, что нас купают вместе с девчонками!»

Так вот наши отцы — Константин Петрович и Александр Васильевич — были большими друзьями. И помню я, как мы с моими братьями Юрием и Германом и с Шурой Вишневым в купальне по очереди лупили по боксерски по животу моего отца. Для него это было нечто вроде массажа. Шурка, стесняясь, поглядывал на Александра Васильевича: можно ли, мол, бить чужого дядю по животу? А мой отец командовал: «Давай, давай сильнее!» — и хохотал, подзадоривая нас...

Берег Волги был для нас любимым местом, где мы росли, здоровые и счастливые. Закалялись, мужали, с утра до вечера проводя на берегу, загорали, боролись и бегали наперегонки, купались до синевы, до лихорадочной дрожи, когда зуб на зуб не попадает.

Отец наш увлекался гребным спортом и был одним из организаторов гребных станций в Казани. У нас было два гоночных ялика, один из которых, построенный самим отцом, был отдан в полное наше распоряжение.



Можно себе представить, сколько экскурсий совершили мы в нем по Волге.

Родители отпускали нас охотно и даже на несколько дней, зная, что мы умелые гребцы. И мы, запасясь салом, хлебом и картошкой, садились в ялик и плыли в село Шеланку, верст на пятьдесят ниже Казани, к товарищу нашему — однокласснику Борису Турбину, у его родителей был там дом. Незабываемые времена!

Выехав на середину Волги, мы раздевались догола и гребли по очереди. Когда хотелось освежиться и отдохнуть, бросались в воду и плыли за яликом. Если же нас заставал дождь, причаливали к берегу, вытаскивали ялик и, перевернув его, укрывались под ним от дождя.

Иногда ради романтики ночевали на берегу, пекли на костре картошку и ели ее с салом и хлебом. Делить сало и хлеб поручалось Шуре Вишневному — в знак особого доверия.

И о чем только не мечтали, о чем не говорили мы тогда у костра звездными ночами!

По-настоящему, уже на всю жизнь, подружился я с Шурой в казанской опытно-показательной школе второй ступени, которая была создана группой педагогов-экспериментаторов. Шура попал уже во второй класс, имея репутацию драчуна и забияки. Это было в 1922 году.

Наш класс настороженно и с пристрастием принимал новеньких. Шурину кандидатуру класс обсуждал горячо и со всех точек зрения, руководствуясь главным образом слухами о его «кулачной активности» среди ребят. А потом все же он был сыном профессора Вишневого, вроде как бы из «высшего общества» Казани.

Как сейчас помню, вхожу в класс, Шура сидит на парте, болтает ногами и рассказывает о чем-то, видимо, очень интересном и занятном, судя по дружному хохоту ребят. А девочки сидят в сторонке, делая вид, что не заинтересованы, но сами прислушиваются и

переглядываются. Шура имел способность привлекать к себе внимание и потому действовал наверняка. Он сразу включился в наше общество и через некоторое время стал хорошим товарищем.

Класс наш был небольшой: три Бориса, три Александра, один Андрей, один Лев и один Аркадий — девять мальчиков и столько же девочек. Звали мы, конечно, друг друга — Бобка, Шурка, Левка, Аркашка — и так до старости, до лысин и седин! Ведь мы потом в течение всей жизни устраивали встречи одноклассников, и, как бы ни был занят А. А. Вишневский — академик, профессор и генерал, — он никогда не отказывался от наших сборищ, как никогда не отказывал в помощи товарищу!..»

Все это из воспоминаний художника Винокурова.

Перейду к запискам еще одного из одноклассников Шуры Вишневского и друга его, теперь подполковника медицинской службы, А. А. Мусина. Вот что он прислал по моей просьбе.

«...Это была замечательная школа всего из четырех классов, и училось в ней около ста человек. Руководил ею ректор Восточного опытного педагогического института (в сокращении — ВОПИ) Сергей Платонович Сингалевич. Был он историком, отличным методистом, прекрасным организатором и человеком четким, строгим и твердым.

Литературу нам преподавал Владимир Павлович Брюханов, человек редкого обаяния, приветливый и очень скромный, никто и не знал тогда, что брат его был наркомом финансов. Помню физика — Николая Ивановича Медянцева, влюбленного в свою науку и талантливо преподающего нам ее. Помню и биолога — Анну Павловну Бунину. А общение со студентами ВОПИ, которые проводили у нас пробные уроки, — интереснейший опыт для будущих педагогов!

В школе часто бывал известный тогда искусствовед — Алексей Александрович Федоров-Давыдов. Занимался с нами и театровед и блестящий лектор Михаил Данилович Прыгунов, впоследствии директор театрального музея имени Бахрушина в Москве. И так как школа имела гуманитарный уклон, то больше внимания уделялось нашему общему развитию и расширению культурного и политического уровня. Были у нас и кружки: литературный, исторический — они назывались «Знание и творчество». Мы ставили своими силами спектакли, и даже на французском и немецком языках. Устраивали интересные встречи, и незабываемой для меня была встреча с Верой Фигнер, которая на протяжении четырех уроков рассказывала нам о своей революционной деятельности. А вечерами мы шли в актовый зал университета, где Вера Фигнер читала главы из своей замечательной книги.

Школа учила нас гражданственности, сознательности, умению любить книгу и работать с ней. Из нашей школы вышли такие люди, как доктор филологических наук писатель С. А. Макашин; академик — химик Б. А. Арбузов; академик В. М. Хвостов; профессор — филолог В. Адо; профессор — химик А. Щеглова и многие заслуженные люди: врачи, химики, литераторы...

А в классе нас было восемнадцать человек. Шура Вишневский был не из лучших учеников — отставал по математике, не придавал значения отметкам. Но он сильно выделялся среди нас остротой и самостоятельностью суждений, упорной волей и спортивностью. Он отлично плавал, играл в футбол, в теннис, занимался боксом, упражнялся на гимнастических снарядах. Я помню его подтянутым черноволосым юношей, отличного, даже красивого, сложения. У него худощавое лицо, нос с горбинкой,

брови взлет и насмешливые глаза. Одет в гимнастерку, туго затянутую широким ремнем.

Он казался старше и взрослее всех нас, видимо, это так и было. Он был честолюбив и всегда хотел быть первым. Помню, однажды он пришел к нам во двор. Ребята метали копье. Он включился в игру, бросил копье неудачно и не ушел до тех пор, пока не метнул его дальше всех. Еще в школе он совершенно серьезно уверял нас, что будет генералом и академиком.

— Не верите? Ну вот посмотрите! — говорил он, сидя на парте и болтая ногами.

Товарищем Шура был отличным: веселый, отзывчивый, всегда охотно принимал участие в лыжных походах, в экскурсиях, в гребле. Я помню, как мы вчетвером в легком ялике проплывали по Казанке. Потом выходили на Волгу и гребли 50 километров до Шеланки, где несколько дней гостили у нашего одноклассника Бориса Горбунова, хозяйничая в большом яблоневоm саду. Помню, что в Шеланке снимал дачу профессор Тушнов и была у него дочка, которая всегда присутствовала на наших вечеринках, звали ее Вероника...»

При упоминании об этой девочке, ставшей впоследствии замечательной поэтессой, мне захотелось немного отвлечься и расспросить о ней Наталью Александровну Вишневскую. Я пригласила ее, знала, что она дружила с Вероникой Тушновой.

И вот мы снова сидим у меня, на диванчике:

— Мы ведь с ней учились в казанской школе в одном классе. Я очень хорошо помню эту тоненькую смуглую девочку, которая постоянно находилась в компании мальчишек, с девочками она не дружила... В детстве она, пожалуй, особыми литературными способностями не отличалась, но если вы посмотрите предисловие к ее сборнику, вышедшему в 1974 году, то узнаете, что, по ее собственному признанию, стихи она начала писать в

самом раннем возрасте, лет шести. Стихи получались гладкие, аккуратные:

Солнышко светит и греет,  
Птичек слышны голоса...

Она записывала их в тетрадку и сама себе заказывала: «Теперь я напишу про весну, а потом про зиму...» В юности она стала писать о любви, о «грезях, слезах, луне, страданиях». Но никто из нас не знал о ее поэтических опусах, видимо, она по своему характеру была скрытной, не раскрывала свой внутренний мир.

В детстве мы с ней не дружили, дружба наша возникла много позже. Обе мы в один год после школы поступили в мединститут, но отец Вероники, профессор, ветеринар, патофизиолог, был вскоре приглашен в Ленинград в ВИЭМ, и семья их уехала из Казани.

Помню, что мать Вероники отлично рисовала, и Вероника унаследовала от нее это дарование и сама любила рисовать, но всерьез к этому не относилась.

А в 1934 году Тушновы переехали в Москву. Вероника закончила мединститут, написала диссертацию, но так и не защитила ее. Дружба наша началась с близкого соседства: мы жили в одном доме на Новинском бульваре. Когда мы обе вышли замуж, стали постоянно ездить все вместе на юг, на море или в горы, в Теберду. Дружить с ней было легко, потому что она была человеком беспредельной честности, взыскательности к себе и необычайной доброты и отзывчивости.

Стихи она начала писать уже во время войны, работая в госпитале в 1944 году, и первые ее стихи «К дочери», напечатанные в «Комсомольской правде», сразу принесли ей успех. Стали приходить письма с фронта от бойцов, такие искренние и с такой горячей

благодарностью за стихи «о наших детях», что Вероника поняла: эти треугольные конверты с номерами полевой почты и есть ее дорога в поэзию. И с этого времени она отдала свою жизнь поэзии. Ближе всего ей была любовная лирика. Стихи ее, полные живой силы любви, как музыка женской души, почти всегда таили отзвук печали, иногда почти незаметной.

Но вот теперь, после гибели Вероники, кажется, что этот отзвук словно предрекал ее ранний, безвременный конец. Если б не ее небрежное отношение к своему здоровью, можно было бы ее спасти. Тяжелая болезнь мучила Веронику довольно долго, но она скрывала ее. А когда легла в клинику к моему брату и он оперировал ее, оказалось — было уже поздно.

Помню, как вечером я звонила ему, чтоб узнать о ее состоянии, и Александр Александрович тихо и горестно сказал мне: «Безнадежно...»

Вероника Тушнова... Мне всегда очень нравилась эта талантливая поэтесса. Но я не была дружна с ней настолько, чтобы знать, что она тоже уроженка Казани. И сейчас я пытаюсь найти следы ее детства, связанного с юностью Шуры Вишневого. Вспоминаю ее стихи:

Я с детства любила гудки на реке,  
я вечно толклась у причала,  
я все пароходы еще вдалеке  
по их голосам различала...  
И я огорчилась, хотя я сюда  
вернулась, заведомо зная,  
что время иное, иные суда  
и Волга-то в общем иная.

Вот эти строчки для меня служат каким-то небольшим звеном в цепи далеких событий, связанных с

Александром Александровичем, у которого на руках умирала Вероника Тушнова, такая прелестная, такая женственная, такая одаренная. Незадолго до смерти она писала:

Вспоминай меня, если  
хрустнет утренний лед,  
если вдруг в поднебесье  
прогремит самолет,  
если вихрь закурчавит  
душных туч пелену,  
если пес заскучает,  
заскулит на луну...

Странно и горько думать, что каждая строчка этих стихов будет существовать и в книгах, и в жизни, а Вероники уже нет. «Вспоминай меня...». Вот я и вспоминаю ее и Александра Александровича, которого тоже нет и которому я только этим могу выплатить свой неоплатный долг...

Возвращаюсь к тому, что помнят друзья. Итак, пишет художник Винокуров: «Он всегда «отрабатывал» в себе что-нибудь — то умение выступать публично и говорить свободно, то мастерство в плавании (и переплывал Волгу один, без дежурного ялика), то «культивировал» храбрость и бросался один против двоих и троих. Вот случай, когда мы оба жили уже в Москве. Было тогда Шуре около тридцати лет. Шли мы вечером по Леонтьевскому переулку (теперь это улица Станиславского), шли, о чем-то болтали, и вдруг слышим крики, топот, ругань, из каких-то ворот выбегают несколько парней, сбивают одного с ног и начинают избивать его ногами. Я даже не успел ничего сообразить, как Шура, закричав, бросился на этих парней с такой смелостью, что они в темноте решили,

что нас много, и мгновенно разбежались. Остался лежать только сбитый, закрывая руками голову.

— Живой? — спросил его Шура.

— Живой, — прохрипел парень.

— Ну слава богу! — Шура успокоился, и мы пошли дальше.

— Ведь ногами, сволочи, били, — зло пробормотал он, — трое на одного, вот ведь люди!

А сколько раз в детстве я видел Шурку в Лядском саду в «кулачных встречах» с мальчишками, и почти всегда он одерживал победу.

Очень интересно было наблюдать за Шурой, когда он готовился к выступлениям на занятиях словесностью. У нас в школе было принято делать доклады наизусть. Я не помню, на какую тему делал свой первый доклад. Шура, но, видно, очень волновался, потому что от него пахло валерьянкой на весь класс, и это, конечно, надолго стало поводом для шуток. Но во второй и в третий раз Шура «докладывал» намного свободней и уверенней, здесь он уже обошелся без валерьянки — научился преодолевать свое волнение. Таков был его характер — добиться поставленной перед собой цели.

Вообще он очень интересно рассказывал. Думаю, что и этого он добивался не без тренировки, потому что в памяти моей сохранился такой случай: однажды наш товарищ, Земницкий, совершенно блестяще рассказал о том, как создавалась «Марсельеза» Руже де Лиллем.

Я подивился и даже позавидовал его красноречию, а Шура сказал: «А ты прочитай Цвейга «Гений одной ночи», выучи и прорепетируй несколько раз. Будешь не хуже рассказывать!..»

В те времена в нашем кружке «Знание и творчество» часто устраивались диспуты, было большое увлечение этим видом бесед на самые разные темы — искусства, морали, науки... Мы собирались в кабинете Высших женских курсов. Стены кабинета были увешаны



портретами ученых и репродукциями с картин, стояло пианино, и иногда кто-нибудь из приглашенных играл. От участников требовалась творческая активность, и часто мы сами выбирали темы для докладов и диспутов.

Я помню горячий спор после Шурино доклада: «Можно ли создать мировой трест?» Сейчас уже трудно вспомнить, что именно и как он доказывал, но Сергей Платонович Сингалевич, который вел этот кружок, так оценил Шурин труд: «Много оригинальных, хотя и спорных, мыслей и много остроумных, хотя и недостаточно убедительных, выводов». Шурка, конечно, остался при своем мнении и долго потом развивал свои идеи в обществе одноклассников...»

Об этом же пишет еще один из одноклассников Вишневого — Аркадий Иосифович Иоффе, ныне инженер нефтехимической промышленности.

«...Шура любил выступать, декламировать, предпочитал стихи Маяковского, но удавались ему больше научные выступления, а не художественные. Здесь он говорил с большой экспрессией, очень убедительно и ярко. Готовился к выступлениям заранее. Бывало, приходишь к нему и уже в передней слышишь его голос: это он перед зеркалом держит речь перед воображаемым корифеем науки или какой-нибудь инстанцией, придуманной им самим. Большой аудитории ему не требовалось, обычно он выступал и при единственном слушателе. Это был я или его сестра Наташа, а иногда и воображаемая аудитория. Он был отличным рассказчиком и любил представлять рассказ в лицах. Рассказы его о виденном и пережитом были интересны не только по форме, но и артистичны по исполнению я содержательны, нешаблонны и всегда отражали его личную точку зрения и его отношение к действительности».

И еще об одном школьном друге Александра Александровича мне хотелось бы сказать. Это — Владимир Михайлович Тимофеев, тоже доктор, но технических наук, почетный радист СССР.

От школьной скамьи в Казани до электронно-вычислительной машины в институте на Большой Серпуховке, — машины, которую устанавливал Вишневскому Тимофеев, налаживая телетайпные связи, — эти два крупных специалиста — каждый в своем деле — сохранили теснейшую дружбу и верность друг другу.

Я читаю эти записки людей, знавших и любивших Шуру, и перед глазами моими встают картины, отодвинутые временем, — то отчетливые, то словно подернутые туманной дымкой, но все они живые, согретые нежностью и преданностью его друзей.

А какая удивительная дружба связывала отца с детьми! Александр Васильевич постоянно волновался за дочь, считая ее хрупкой, а Ната росла среди мальчишек, умела плавать, грести. Брата она называла «гололобым»: перестав носить детскую челочку, он откидывал свои темные волосы назад, и тогда обнажался его высокий, широкий лоб. А Шура дал сестре прозвище «утконос» — за такой же, как у отца, приплюснутый нос. Но жили дети дружно, Шура не давал сестру в обиду. Общее здоровое, спортивное воспитание, детство и юность, прошедшие рядом с красавицей Волгой, — все это сблизило их на всю жизнь.

Александр Васильевич не толкал Шуру к медицине, Шура сам заинтересовался ею, с детства постоянно общаясь с отцом, который отдавал этому делу свою жизнь, свою душу и знания. Впоследствии, будучи уже академиком, Александр Александрович в интервью для «Комсомольской правды» сказал:

«...Я не люблю слова «династия». В нем есть какая-то скучная предопределенность. Успех не может быть запрограммирован. Иначе какая от него радость. В русском языке каждое слово имеет свой оттенок, поэтому куда правильнее говорить о семейных традициях — это атмосфера, в которой рождается первая мысль о профессии. Я любил своего отца и гордился им, но не положением, не известностью его, а им самим. Он был большим хирургом, способным артистом, хорошим спортсменом... А главное, настоящим мужчиной! И была в нем властная убедительная сила, сила мастера своего дела. Я знал отца в разные дни его жизни. Я слышал, как говорили о нем его больные. Я видел его со скальпелем... Словом, в четырнадцать лет я твердо решил стать хирургом. Впрочем, сыну Вишневого нетрудно было «заболеть хирургией». Куда труднее пришлось потом. Все относились к врачу с какой-то завышенной меркой. Прежде всего — сам отец. Требовательность его не знала предела. Но было в его методе такое, что срабатывало безошибочно. «Умей заставить себя, — говорил он, — сделать любое дело, раз доверяют, раз считают, что оно по силам». Короче, ни разу не пожалел я о профессии, которую запланировал себе на всю жизнь...»

Шура смолоду привык думать и жить так, как жили в его родном доме, и потому не было для него никакого другого выбора, никаких иных интересов, никакой иной мечты. Он был, конечно, менее сдержан, чем отец, и более порывист, но огромная эмоциональная сила в нем всегда подчинялась разуму. Разум и одержимость, разум и настойчивость, разум и чувство. И поэтому растрата была постоянная, неизбывная — иначе он не мог. А реакция — каждый раз, как впервые! Он умел удивляться, хотя вроде бы не однажды с каким-то фактом сталкивался, по каждый раз находил в нем новое. Это делало его на протяжении всей жизни

молодым. Умение восхищаться и сохранять влюбленность в жизнь. Все это — признаки молодости даже в зрелом возрасте.

И рядом — яростная целеустремленность, упорство и даже честолюбие. Военная дисциплина, которая была у него в крови от деда, выручала его, если темперамент доводил до взрыва. Своеобразная личность!

Я хорошо знала всю его жизнь, его семейные драмы и комедии. Но они ни на йоту не умаляют значения его богатейшей личности. Причиной многого, что осложняло его жизнь, что с ним происходило, была его темпераментная, взрывчатая натура, не терпящая покоя и однообразия. Но, будь он иным, вряд ли он смог бы стать тем, кем стал, — талантливым ученым, мужественным воином, общительным, остроумным человеком.

А в повседневности это выглядело так: уже незадолго до кончины Александра Александровича я сидела у него в кабинете. Были мы оба уже в преклонном возрасте, но тем не менее вели живой, молодой разговор о жизни. Вошла секретарша Зоя Кузьминична — обстоятельная, умная и милая женщина, ей нужно было согласие на госпитализацию какой-то больной.

— А она хорошенькая? — спросил Александр Александрович, подписывая бумагу.

Зоя Кузьминична, чуть смешавшись, взглянула на меня и шутя пожурела Александра Александровича:

— А пора бы вам, Александр Александрович, перестать увлекаться хорошенькими!

Надо было видеть веселый и озорной взгляд академика за выпуклыми стеклами очков.

— Все еще воспитывают меня, сотрудники-то! — подмигнул он мне.

И столько в этом было лукавства и юмора, что все в это мгновение как бы осветилось сознанием, что мы

живем, живем еще!.. И сама мысль о близком конце этого человека казалась нелепой.

## Становление

Если бы в свое время я спросила Александра Александровича, что помнит он о периоде революции 1917 года, он как человек образованный и живо всем интересовавшийся мог бы рассказать подробно о годах гражданской войны в Казани, когда вся Россия была в кольце иностранных интервентов и белогвардейских банд, внутри которого орудовали контрреволюционные силы, поддерживаемые татарской буржуазией и кулаками. Империалисты Англии, Франции, Японии, Америки шли с военной интервенцией по Волге в надежде взорвать Советскую власть изнутри...

Он бы рассказал о Казани, много раз переходившей из рук рабочих отрядов в руки белобандитов и эсеров, таких авантюристов, как полковник Муравьев или анархист Трофимовский, когда отряды рабочих и красногвардейцев бились не на жизнь, а на смерть с врагом, превышающим их силы в десять раз...

Но что мог помнить двенадцатилетний Шурка из событий этого времени? Думается мне, что свой любимый Верхний Услон, когда белые захватили его и, расставив орудия и пулеметы на узеньких дачных улочках, меж яблоневых садов, вели жестокий бой с группой беззаветных смельчаков — рабочих и красногвардейцев под командованием молодого казанского коммуниста Скачкова. Все они погибли на том самом берегу, где незадолго до этого кувыркались и бегали вперегонки по песчаной отмели мальчишки: Шурка Вишневский, Борька Винокуров, Борька Мусин... Золотой песок косы обагрился там кровью защитников Казани.

Конечно, не мог Шура не помнить и вторжение белых в Казань в августе 1918 года, когда тридцать пять

дней в городе хозяйничали белые и чинили кровавые расправы прямо на улицах, когда над Казанью трезвонили колокола, в церквах совершались молебны, и велико-светские дамы, купчихи и помещицы вышли на залитые кровью улицы с цветами, встречая белогвардейские полки, подкрепленные чешскими военными частями... Тогда восстановлены были городская дума и земское собрание, и комендантом стал прятавшийся до сего времени генерал Рычков. Тогда было собрано и Учредительное собрание, пытавшееся сколотить «беспартийную рабочую корпорацию», а на фабриках и заводах появились прежние хозяева, чтобы, освободившись от «передовых элементов», твердо проводивших линию ленинцев и имевших с ними прямую связь, захватить снова в свои руки власть.

С приходом Советской власти в ученом мире Казани произошел раскол, многие буржуазные ученые подались за границу, но часть университетской интеллигенции осталась, приняв новую политику, и, хотя находилась в трудных материальных условиях, продолжала работать.

Памятным событием было открытие рабфаков осенью 1929 года, когда в Казанский университет влилась молодежь из рабочих и крестьян разных национальностей. К 1920 году уже открылись пять новых вузов, кроме университета. Это были археологический, ветеринарный, политехнический, восточнопедагогический, лесоводческий институты. Шестым был открыт татарский коммунистический вуз, откуда выходили национальные кадры партийных работников республики. Сотни специалистов — учителей, агрономов, врачей, инженеров, ветеринаров — создали первое звено рабоче-крестьянской интеллигенции Поволжья.

Представители старой казанской медицинской школы, верные традициям русских ученых, ревностно поддерживали развитие советской медицины в

университете, в институте социальной гигиены, в обществе врачей и в микробиологическом институте, отдавая свои знания молодым и приобщая к науке широкие массы.

В числе ученых-медиков остался в Казани и Александр Васильевич Вишневский, к тому времени ставший виднейшим русским хирургом. Семья по-прежнему жила в своем доме на Старо-Горшечной улице.

В 1924 году Шура закончил школу и поступил в университет. Александр Васильевич внимательно следил за сыном, подолгу беседовал с ним, передавая ему свои знания и опыт и свою преданность искусству хирургии. Уже со второго курса Шура вел практические занятия со студентами по анатомии, к которой отец привил ему особое пристрастие, а с третьего курса работал при кафедре фармакологии, продолжая работу отца, и сам конструировал специальную камеру для этой работы.

Становление молодого ученого проходило в годы становления нового советского общества, но самым ярким примером для него была жизнь отца — Александра Васильевича, принимавшего горячее участие в развитии новых форм медицинской науки. В то трудное, но славное время Александр Васильевич взял на себя и руководство губернской больницей, и организацию института усовершенствования врачей, и университетскую клинику хирургии. Одновременно с этим он окончательно завершает разработку своего метода местного обезболивания. Его научно-практическая деятельность объединяет вокруг себя многих последователей — учеников, которые потом стали известными профессорами.

Сыном своим Александр Васильевич явно гордился. И когда Шура начал оперировать самостоятельно, Александр Васильевич говорил его друзьям:



— А Шурка-то мой видели, как оперирует!..

В 1929 году Шура, закончив университет, остался научным сотрудником при кафедре анатомии, но этим удовлетвориться не захотел и решил ехать в Ленинград, поступать в военно-медицинскую академию.

Мне не удалось встретить никого, кто вместе с Александром Александровичем работал в Ленинграде в этот период. Нет на свете и жены его — Варвары Аркадьевны, которая могла бы рассказать о муже молодом военном враче, начинавшем продвигать в науку методы, разработанные отцом его, Александром Васильевичем, в частности, — применение новокаиновой блокады.

Три года, проведенных Александром Александровичем в Крутых Ручьях — в лепрозории, куда он был послан из Ленинграда профессором Сперанским, дали ему возможность формироваться как ученому. Серьезное научное исследование воздействия новокаиновой блокады на кожную и нервную формы проказы дало отличные результаты и возможность через три года блестяще защитить диссертацию на тему «К вопросу о патогенезе и терапии проказы». Вскоре ему было присвоено звание профессора.

К этому времени Александр Васильевич уже перевелся в Москву во Всесоюзный институт экспериментальной хирургии и пригласил сына работать вместе с ним. Отсюда начинается творческое содружество отца и сына Вишневских, продолжавшееся до самой кончины Александра Васильевича, который очень верил в талант сына и считал его подлинным преемником своих научных воззрений. «Я, откровенно говоря, не всегда могу сказать, что принадлежит мне, а что ему в нашем общем деле», — говорил Александр Васильевич, утверждая этими словами становление своего сына в искусстве хирургии.

## **Три дня в Ясной Поляне**

Что так привязывало Александра Александровича к Ясной Поляне? Он бывал там постоянно, то с ружьем — поохотиться, то уставшим — отдохнуть, то по призыву яснополянских врачей — оперировать какого-нибудь сложного больного. И, несмотря на то, что были дача под Москвой, на Николиной горе, и военный санаторий «Архангельское», где он постоянно отдыхал в зимнее время, для Александра Александровича Ясная Поляна имела особенную притягательную силу.

Я попала туда впервые, как ни странно, не ради музея, а в надежде на встречу с теми, кто мог мне рассказать о пребывании Вишневого в Ясной Поляне. Я провела там три дня и сразу попала в плен к толстовской усадьбе с ее рощами и прудами, с притягательной силой атмосферы, окружавшей великого писателя.

### ***День первый***

Было это в начале апреля, и сырость в Ясной Поляне была такая, что мне нездоровилось, как нигде и никогда. Но, преодолевая боль в позвоночнике, я все же отправилась с утра в дом-музей. Меня встретил хранитель его и один из исследователей жизни и творчества Толстого, Николай Павлович Пузин. Он водил меня по дому, и за тихим рокотом его спокойной речи передо мной оживали картины той эпохи и волнующие эпизоды из жизни семьи Толстого — счастливые и горестные.

Николай Павлович, сам будучи двоюродным внучатым племянником поэта А. А. Фета, прекрасно знает и любит эту эпоху, умеет ярко и талантливо рассказать о ней и передать посетителям музея драгоценное ощущение подлинности всего того, что окружало великого писателя. И кажется, что эти стены — свидетели жизни Льва Николаевича — хранят даже давние запахи и шорохи, и что спинки мягких кресел еще не успели остыть от человеческого тепла, и что глыба зеленого стекла — своеобразное пресс-папье, подаренное Толстому рабочими Мальцевского завода, ревниво хранит листы рукописей на его рабочем столе... А рояль стоит, сберегая интимность семейных музыкальных вечеров, и кажется, что крышка только что опустилась после очередного, как говорили в этом доме, «делания музыки».

«Люблю музыку больше всех других искусств», — говорил Толстой, и, как известно, любительская музыка занимала в жизни его семьи очень важное место, и часто ей предпочитали профессиональную...

Я стою и думаю о том, что здесь однажды прозвучали Крейцера соната Бетховена в исполнении старшего сына Толстого — Сергея Львовича и скрипача Лясотты, и это произвело на Льва Николаевича очень сильное впечатление, которое потом он передал в повести «Крейцера соната».

Здесь Толстой сам играл в четыре руки пьесы Моцарта — с дочерью Машей или женой Софьей Андреевной. Здесь играли и Танеев, и Гольденвейзер, и молодой Игумнов...

Мы ходим по комнатам, где каждая деталь, каждый уголок наполняют сердце волнением и трепетом.

Николай Павлович рассказывает мне о том, что ему довелось общаться и даже дружить со старшим сыном Толстого Сергеем Львовичем. И много других

интересных подробностей узнала я от Николая Павловича.

Я смотрю на знаменитую скульптуру работы Паоло Трубецкого — портрет Толстого в мраморе. На мой взгляд, это один из самых лучших и близких по сходству и характеру скульптурных портретов Толстого. Он стоит в углу гостиной, и в нем есть что-то притягательное, приковывающее ваше внимание, что заставляет, уходя, обернуться не один раз, чтобы запомнить его навсегда...

Мы выходим с Николаем Павловичем из дома и идем по направлению к больнице: там я должна встретиться с главным врачом — Игорем Петровичем Чулковым и расспросить его о Вишневском. Идем не спеша, беседуя, навстречу идут люди, и Николай Павлович поминутно отвечает на добрые приветствия, и я вижу, что иду рядом с человеком не только высокой культуры, но всеми любимым и уважаемым, и думаю: как надо ценить таких людей!

У входа в больницу я прощаюсь с Николаем Павловичем, который идет к поселку, где живет с семьей.

Игорь Петрович ждал меня в маленьком флигеле при больнице. Ему, видимо, не терпелось поделиться со мной всем, что он знал и помнил. И пожалуй, никто из врачей, знавших Вишневского и работавших с ним, не проявлял такого энтузиазма и такой преданности памяти отца и сына Вишневских.

И вот мы сидим с Игорем Петровичем, с этим высоким сутуловатым человеком, необычайно добрым, мягким и отзывчивым. Но чувствуется, что за этой мягкостью — большая воля, а за добротой и отзывчивостью — умение ладить с людьми. Он рассказывает:

— Когда Александра Васильевича спросили: как вы смогли воспитать в своем сыне такого сильного хирурга, он отвечал: «Очень просто — я десять лет держал его в

анатомичке, у отличных физиологов». И здесь, конечно, сказывается принцип Александра Васильевича, который считал: первое, что необходимо для любой специальности в медицине, это изучение строения человеческого организма, нормальной и патологической анатомии.

Да, Александр Александрович был истинным сыном своего отца — он мастерски ассистировал ему и сам говорил об этом так: «Отдаю отцу столько сил, сколько вообще их имею!» Он преклонялся перед отцом, любил его безмерно и целиком воспринял его методику. Когда умер Александр Васильевич, сын сказал: «Вот нет больше отца, и какую же глупость я совершил, не догадался, пока он еще не остыл, взять у него из руки квадратик кожи. Я бы вырезал такой же у себя, вшил на это место кожу отца и, прикасаясь к ней, постоянно получал бы новую зарядку, физическую и моральную.

Вот мне часто говорят, что многое создано не мной, а моим отцом, но ведь можно растратировать наследство, а я собрал и удержал его методику, расширил и развил его школу...»

Игорь Петрович ненадолго задумывается и затем продолжает свой рассказ:

— После смерти отца Александр Александрович учился хирургической технике у Егорова и у Знаменского, он долгое время работал прозектором и отлично знал анатомию, знал каждую мельчайшую клетку в организме.

Когда мы сдавали Александру Александровичу экзамен по анатомии, он нас три раза проваливал, считая, как и отец, что в хирургии важнейшее безукоризненное знание анатомии и физиологии.

Ассистировать ему во время операции было невероятно трудно — такой скрупулезной осторожности и даже нежности требовал он от нас. Если, взяв крючок, случайно дернешь кожу, немедленно услышишь крик, а

то и брань: «Ну что ты, как крыса, кожу разодрал!» Александр Александрович всегда чувствовал, как ассистент держит крючок. «Держи воздухом!» — кричал он. Ничто не ускользало от его взгляда, и мы порядком уставали от этого нервного напряжения. Но зато мы прошли прекрасную школу...

А руки! Какие руки были у Вишневских! У Александра Васильевича они были короткие и толстые, но посмотрели бы вы, какую тонкую работу он ими выполнял! Бывало, диву даешься, как это все у него получается. Техника у него была, как у пианиста... А у Александра Александровича, наоборот, руки были тонкие, ловкие, с очень красивыми пальцами. Запомните этот термин — «хирургическое туше», — лучшего не было ни у кого. На его операциях не бывало кровотечений, он сразу зажимал сосуды и мелкие сосудики, и, самое главное, он старался, как и отец, тщательно обходить нервные стволы, зная, что от них зависит заживление раны. Помню, как однажды Александр Александрович приехал с фронта и оперировал в клинике у отца, на Большой Серпуховке. Отец смотрел и радовался. «Ты гляди, Игорь, — говорил он мне, — как мой Шурка хорошо работает!»

А ведь в те времена сын на фронте оперировал чаще, чем отец в тылу. И сыну приходилось сталкиваться со многими хирургами и наблюдать разные школы, разные операции, и каждый раз он заимствовал у них удачные, эффективные приемы, которыми искренне восхищался, и охотно приобретал опыт коллег. По технике он мог соперничать только с Юдиным, хотя у Юдина была совершенно иная школа.

Отца Александр Александрович любил безгранично, берег его, часто заменял на сложных операциях. И если приходилось отстаивать принципы школы Вишневских, то Александр Александрович принимал на себя все удары противников...

В соседней комнате запели птицы, такое разноголосье донеслось оттуда, что беседа наша прервалась.

— Удивляетесь? — засмеялся Игорь Петрович. — Это моя страсть.

Он открыл дверь в свой кабинет, и я увидела множество клеток, поставленных одна на другую вдоль большого окна. Были тут и щеглы, и канарейки, и чижи, и отдельно в больших клетках важничающие попугаи. Как только Игорь Петрович вошел в это птичье царство, поднялся такой гомон, что беседу пришлось закончить, к тому же Лидия Павловна, жена Игоря Петровича и постоянная помощница его, уже накрывала на стол в столовой.

— А вы знаете, ведь Лидию Павловну буквально спас Александр Александрович. У нее был гнойный панкреатит и холецистит. Он приехал и блестяще провел операцию удаления желчного пузыря. Да что говорить, чудо-хирург был!..

## ***День второй***

Этот день начался у меня с выступления в яснополянской библиотеке, в доме, принадлежавшем деду Льва Николаевича, — Николаю Сергеевичу Волконскому. Само это здание — прекрасный усадебный белый особняк посреди открытой поляны — словно переносит нас в один из романов Толстого. Уютные, небольшие комнаты, лесенки на второй этаж, коридоры, переходы, большие залы и столовые — все так напоминает быт толстовских персонажей.

Николай Павлович Пузин предложил мне пройти еще раз в дом-музей, чтобы поподробнее рассказать о

последнем пребывании Толстого в Ясной Поляне, куда привезли гроб с его телом. Мы спустились в нижний этаж под сводчатый потолок, где раньше был кабинет Льва Николаевича:

— Вы, конечно, знаете, что Лев Николаевич скончался на станции Астапово, и оттуда его сыновья перевезли гроб поездом на станцию Засеку, и от вагона четыре сына его — Сергей, Илья, Андрей, и Михаил — на руках пронесли гроб к дому. И тут пришлось открыть балконную дверь вот в эту комнату, чтобы все, кто хочет проститься с ним, входили через балкон, а выходили через внутренние покои. И представьте себе, очередь прощающихся окружила весь дом и тянулась далеко по липовой аллее до самых ворот и дальше. Тысячи людей шли и шли... Тут были и приехавшие из Москвы, и местные, и крестьяне, и масса студентов... По свидетельству Сергея Львовича, среди народа затесался городской и встал возле гроба, и тогда Сергей Львович обратился к нему: «Здесь мы хозяева, семья Льва Николаевича, и требуем, чтобы вы вышли!» И только после этого городской удалился. Когда гроб с телом Льва Николаевича выносили его сыновья, то все люди, стоявшие вокруг дома, опустили на колени, и гроб поплыл над морем склоненных голов. Процессия двинулась в лес, к обрыву, где Лев Николаевич завещал похоронить себя без церковного обряда.

Речей на могиле не говорили — родные были против выступлений, и только один друг семьи Толстых, Леопольд Антонович Суллержицкий, мог позволить себе рассказать, почему Лев Николаевич завещал похоронить себя именно здесь. Там ведь под липой зарыта, по легенде, «зеленая палочка» любимого старшего брата Николая, на которой было написано таинственное откровение о том, что нужно сделать, чтобы люди не ссорились и не знали никаких несчастий... Мы с вами пойдем туда завтра, — сказал Николай Павлович. Он



проводил меня до выхода и остался в музее, а я снова отправилась к Чулкову.

Разложив на столе папки с газетами и фотографиями, Игорь Петрович ждет меня оживленно-сосредоточенный, словно сделал какое-то новое открытие для себя, как это бывает у людей эмоциональных.

— Были в музее? — спрашивает он, приветствуя меня.

— Была. И знаете, очень взволнована...

Чулков сразу понял мою настроенность.

— Так вот вы представляете себе, с каким неизбывным интересом подходил к каждой вещи в музее Александр Александрович. Он внимательно всматривался в фотографии и портреты, разглядывал вещи, принадлежавшие Льву Николаевичу, его всем известную блузу (ее впоследствии стали называть «толстовкой»), которая ныне висит над его скромной железной кроватью...

Младший Вишневецкий, Саша, рассказывал мне, что отец подолгу простаивал в задумчивости в комнатах музея и очень сердился, если экскурсанты громко говорили или стучали ногами, нарушая тишину дома.

Он каждый раз, придя на могилу Толстого, стоял в молчании, словно сливаясь с окружающей природой, где витал бессмертный дух Толстого. Отец часто говорил: «Согласно диалектике жизнь и смерть неотделимы. И диалектика бывает жестокой...»

Я обращаюсь к Игорю Петровичу:

— Александр Александрович часто приезжал сюда с ружьем и, говорят, любил побродить по местам, где охотился Толстой.

Игорь Петрович вдруг рассмеялся:

— Знаете, мне кажется, что он надевал охотничьи сапоги и куртку, брал ружье и просто шел отдыхать на

природу. Я, во всяком случае, ни разу не видел, чтобы он принес какую-нибудь дичь с охоты.

Я слушаю Игоря Петровича, и вспоминаю, как интересно и с каким энтузиазмом рассказывал Александр Александрович моему отцу о прелестях охоты на тяге или на току.

— Игорь Петрович, а есть у вас книга старшего сына Толстого — Сергея Львовича? Дайте ее на минутку.

Чулков снимает с полки книгу «Очерки былого». Я раскрываю ее на странице сто двадцать первой и читаю: «Отец в то время не только не был вегетарианцем, но без жалости убивал животное на охоте, так, например, подстрелив птицу, он так добивал ее: выдернет перо из ее крыла и вонзит перо ей же в голову. Нас он учил поступать таким же образом».

— Что вы скажете об этом, Игорь Петрович?

Чулков серьезно глядит на меня и потом раздумчиво произносит:

— Вот видите, как меняет время психологию человека. И это Толстой, переставший впоследствии есть мясо, и, конечно, тогда он уже не охотился. Думаю, что Александр Александрович, бродя по перелескам с ружьем, отдавал тогда дань именно этим взглядам Толстого... Я ведь, знаете, тоже не охотник: в молодости так неудачно отрубил голову петуху, что потом целый год не мог есть куриного мяса... Но что Александр Александрович любил с пристрастием, так это ружья, которых у него было много — целая коллекция. Помню одно ружье, подаренное маршалу Жукову командующим английской армией Монтгомери. Жуков потом подарил его Александру Александровичу. Он все собирался отдать его в ремонт на Тульский завод. А одно из знаменитых ружей они подарили ему с надписью: «От тульских оружейников».

А вообще в Александре Александровиче сочетались неожиданные качества: он обожал птиц и цветы и

всегда восхищался нашими цветниками: «Сколько у вас цветов! Сколько солнца, радости! Молодец Чулков!» — говорил он, бывало, заехав к нам летом. И музыку любил и понимал. Причем ведь уж скольких знаменитых певцов и артистов он знал и все-таки, приезжая в Ясную, он всегда охотно слушал самодеятельный больничный хор.

А как он относился к нашим сотрудникам! Помню, однажды на банкете с коллективом больницы Александр Александрович произнес такой тост:

«Я пью за тружеников яснополянской больницы, создавших здесь небольшой филиал Института имени Вишневского. Я пью за фактор времени. Не забывайте его, спешите усовершенствовать работу и, борясь за жизнь людей, всегда помните этот фактор, упустив который, можно упустить саму жизнь».

Игорь Петрович выбрал одну из разложенных на столе фотографий и сказал:

— А сейчас я хочу познакомить вас с еще одним из интереснейших участников яснополянской жизни. — Он протянул мне фотографию улыбающегося юноши-вьетнамца. — Это наш друг — хирург Нгуэн Хан Зи. Он ученик Александра Александровича, в течение четырех лет проходил практику в яснополянской больнице. Здесь он писал диссертацию, здесь начал оперировать самостоятельно, а потом уехал в Ханой, делал там удачные операции на сухом сердце с гипотермией — по методу Александра Александровича. Потом ушел на фронт и там применял методы Вишневского в боевой обстановке. Я собрал газетные статьи по этому поводу. Вот статья от 30 марта 1971 года в «Известиях» под заголовком «Вы научили меня мужеству». В ней приведено такое письмо Нгуэна Хан Зи: *«Здравствуйте, дорогой Игорь Петрович и все мои яснополянские друзья! Я был дважды контужен взрывами американских бомб и чуть не погиб. Вы научили меня мужеству и стойкости... Если б вы знали, как мне помогает здесь*

*практический опыт, полученный в яснополянской больнице. Я широко применяю новокаиновые блокады всех видов и местное обезболивание по методу Александра Васильевича Вишневского.*

*Ваш Зы».*

В «Медицинской газете» от 5 сентября 1967 года в статье «Мы верим в победу» тоже приведено письмо Хан Зы: «Сейчас я возглавляю группу врачей, фельдшеров, медсестер и студентов, которые готовы ехать в любые края страны, готовы работать в любых условиях и любых местах, как потребует родина, готовы отдать ей свою жизнь для того, чтобы на нашей прекрасной, святой земле не было ни одного американского захватчика».

И Хан Зы отдал жизнь за свою святую землю: он был убит в джунглях в тот момент, когда оперировал тяжелораненого. Но за время войны Нгуэн Хан Зы сумел перевести на вьетнамский язык книгу Вишневского и Шрайбера «Военно-полевая хирургия».

Мы рассматриваем с Игорем Петровичем фотографии, сохранившиеся от тех времен, и думаем о том, что ни вьетнамского врача, ни Вишневского уже нет на свете, но каждый из них оставил светлый след в разных концах земли, оставил свои знания, свои стремления, благороднейшие помыслы, в которые оба они вкладывали свою душу.

— Вы знаете, — говорит Игорь Петрович, — Александр Александрович постоянно чем-то удивлял нас всех, и не было конца его кипению, его энергии. «Я живу, пока оперирую, — говорил он. — Мне это необходимо так же, как пища! Если я перестану оперировать, я умру! Нечем будет больше дышать». И так он был предан делу своему, что нередко появлялся в операционной прямо с аэродрома, после трудной, напряженной поездки.

А однажды он летел в Америку с высокой температурой, пробыл там, будучи совершенно больным, а лишь вернулся, и с аэродрома поспешил в клинику, не заезжая домой. Такая в нем была неистовость и такое ответственное отношение к своим больным. Это же самое было и в его отце, в Александре Васильевиче, — он не мог, сделав операцию, а тем более сложную, успокоиться, уехать домой отдыхать, возложив все наблюдение на ассистентов и ординаторов. Ведь иной раз он приезжал утром с отеками под глазами. И, бывало, спросишь: «Что с вами, Александр Васильевич? Сердце пошаливает?» А он отвечает, махнув рукой: «Да все эмоции... Ведь всю ночь не мог уснуть, думал о больном, переживал!..»

### ***День третий***

Как мы условились с Николаем Павловичем, с утра отправились на могилу Толстого. Шли по прибранным аллеям парка, по влажной еще земле. Воздух — резкий, чистый, с ароматами свежей травы — пьянил и бодрил одновременно.

— Вот вы сейчас работаете над книгой об Александре Александровиче, — по дороге говорил Николай Павлович, — а ведь я могу вам рассказать о самой непосредственной связи между семьями Толстых и Вишневских. — Хотите?

Я, понятно, загорелась таким предложением и вот что услышала:

— В 1943 году сын Льва Николаевича, Сергей Львович, будучи уже восьмидесятилетним стариком, однажды отправился на Введенское кладбище, на могилу своей жены Марии Николаевны, и на обратном

пути решил сесть в трамвай. Трамвай уже тронулся, когда Сергей Львович вскочил на подножку и, оступившись, угодил левой ногой под колесо. Его тут же отвезли в Лефортовскую больницу, где в то время работал Александр Васильевич Вишневский, и он-то и ампутировал Толстому ногу. С июля по декабрь Сергей Львович находился в больнице под наблюдением Вишневского, он был в тяжелом состоянии, и Александр Васильевич лично следил за ним и ухаживал.

И вот когда Сергей Львович уже переехал домой, на Арбат, — рассказывает Николай Павлович, — Александр Васильевич постоянно бывал у него, ездил к нему в Ясную Поляну, когда Сергей Львович переезжал туда на лето. К тому времени Сергей Львович уже терял слух и зрение, но все еще продолжал живо интересоваться шахматами, музыкой, политикой, и до самых последних дней Александр Васильевич посещал его и всячески поддерживал. Я был этому свидетелем и высоко ценил такое отношение к Сергею Львовичу.

Я слушала и думала о том, что все же судьба благоприятствует мне. Видимо, не очень многие знают об этом немаловажном факте...

Но вот мы подошли к могиле Толстого. Она поразила меня — маленький холмик на краю лесного обрыва, обложенный еловыми ветками, — ни креста, ни памятника... Это пронзительное одиночество среди весеннего ликования, под старыми деревьями, покрытыми молодой, клейкой листвой, производило сильное впечатление.

Величавая тишина этого места вдруг была нарушена — к могиле подошла компания молодых людей. Это были новобрачные и вместе с ними — девушки и юноши с воздушными шариками и куклами-голышами. Они тихо переговаривались, едва сдерживая смех и шутки.

Видимо, это была нарождающаяся традиция отмечать вступление в новую жизнь чем-то серьезным и

значительным. Ах, если б знали эти молодые, как не вяжется строгое и печальное место погребения великого писателя с чисто бытовым свадебным ритуалом, со всеми этими шариками, лентами, куклами!..

Этим славным молодоженам почему бы не прийти сюда, на эту священную для всего человечества могилу, завтра? Пришли бы вдвоем, без лент и шариков. Пришли бы, чтоб подумать о волшебной «зеленой палочке», на которой было написано, как нужно жить, не обижая друг друга, как жить, чтобы быть счастливыми... И это посещение, строгое, молчаливое, быть может, стало бы залогом согласия на всю их последующую жизнь...

Нам с Николаем Павловичем больше уже ни о чем не хотелось говорить. И мы ушли. Николай Павлович в музей, а я к Игорю Петровичу.

И вот я снова слушаю его рассказ.

— Первая пересадка сердца, которую произвел Александр Александрович, была для него, конечно, большим событием, — говорил Игорь Петрович, разложив на столе приготовленные для меня фотографии, газетные статьи и какие-то брошюры. — И, несмотря на то, что министерство было против его эксперимента, маршал Гречко взял его под свою защиту и разрешил ему делать эти операции в военно-медицинской академии. И конечно, Александр Александрович начал бы снова заниматься пересадками, но у него к тому времени случилось большое несчастье — скоропостижно умерла его вторая жена Лидия Александровна...

Это была прелестная женщина, хорошая певица. Я дружила с ней и знала романтическую историю ее встречи с Вишневым в Мексике, где она жила с мужем, советским послом. После этой встречи Лидия Александровна рассталась с мужем и уехала в Москву, чтобы быть рядом с этим невысоким, подвижным человеком с трудным характером и стихийным

темпераментом... Они жили интересной, интенсивной жизнью и были очень счастливы. Но расплата за это счастье была жестокой. Лидия Александровна, жена знаменитого хирурга, погибла от тромба. Мгновенно, на теннисном корте, не успев принять мяч на свою ракетку, она упала, как подкошенная: тромб попал в легочную артерию...

Игорь Петрович достает из папки фотографию Лиды и Александра Александровича — они сняты здесь, в Ясной Поляне.

— Да, смерть ее сильно подействовала на Александра Александровича, — говорит он. — Я впервые увидел, как он плакал, когда я приехал на похороны. Он сказал: «Эта женщина умела объединить вокруг меня моих учеников, моих друзей... Она умела принять кого угодно... — И тут же прибавил: — Вот если у меня воля сильная, то на второй день после похорон я возьмусь за самую сложную операцию! Вот тогда я — человек!» И он взялся и, представьте себе, сделал сложнейшую операцию на сердце, но признался мне потом: «Я, знаешь, Игорь, выпил столько успокаивающих средств, что сейчас нахожусь словно в тумане...»

Да, могучий это был характер! Ведь он мог делать любую операцию! У кого-то, допустим, на фронте задело глаз, он делал операцию на глазном яблоке; легкое пробито — делал на легком; желудок, позвоночник, прямая кишка, словом — всё. Не было операции, за которую бы он не взялся. Он не признавал узкой специализации и говорил мне: «Представь себе, Игорь, что пуля влетит мне в ягодицу, а вылетит через плечо. Скольких же специалистов-хирургов придется мне привлекать? Так вот надо знать всё».

Интересно, что первую операцию на сердце он делал под местной анестезией, а для этого надо виртуозно владеть техникой, знанием физиологии, да еще иметь большое самообладание.



Александр Александрович понимал, что нельзя ограничиваться местной анестезией, что пришло время применять общий наркоз, но считал, что нужно владеть и тем и другим, и потому говорил: «Вот если будет атомная война и бросят атомную бомбу, можно ли будет в этих условиях применить общий наркоз, ведь это же — взрывчатая смесь! Надо иметь наркотизаторы, а где их брать на поле боя? Тут надо подползть к раненому и делать ему новокаиновую блокаду». Разве не так? А? И если мы в годы войны вернули в строй двадцать миллионов человек методом Вишневского, так это же чудо! В каких тяжелых условиях мы находились, когда не было воды для новокаина и нечем было обезболить, санитарам приходилось растапливать снег. И мы делали с ним операции, и всегда удачно!

В науке Александр Александрович был передовым человеком. Часто выезжая за границу и следя за научными открытиями, он сразу оценил кибернетику. И когда я, сам еще недооценивая научных исследований, однажды упрекнул его: «Вот вы, Александр Александрович, крупнейший хирург, с блестящей техникой, а всерьез принимаете такую чепуху, как кибернетика», — Александр Александрович, хитро улыбнувшись, ответил: «Э-э-э, постой, постой, Игорь! Я ведь отношусь ко всему глубже и вижу намного дальше! Я считаю, что надо идти в ногу с передовой наукой. Но, конечно, кибернетика не является основной в диагностике, а только подсобной». Так он ответил мне, и здесь хочется привести кое-какие мысли из его статьи в нашей тульской газете.

Игорь Петрович разворачивает заранее приготовленную газету «Коммунар».

— Вот послушайте: «...В нашей лаборатории созданы диагностические системы для ряда хирургических заболеваний: врожденных и приобретенных пороков сердца, заболеваний печени и желудка. При этом

математические принципы «машинного диагноза» оказались универсальными, их можно использовать для построения систем, распознающих заболевания крови, легких, центральной нервной системы.

...Машина ставит точный диагноз в 90–92 случаях из ста. Электронная диагностика ценна еще тем, что с ее помощью удастся определить характер заболевания, не применяя таких сложных приемов, как, например, зондирование полостей сердца и пункция...»

И дальше мы читаем с Игорем Петровичем интереснейшие высказывания Александра Александровича о будущем электронно-вычислительных машин, об электронно-медицинском архиве, где все истории болезней закодированы, о том, что с помощью электронного устройства буквально за секунду можно найти для обследуемого больного все аналогичные случаи, ранее наблюдавшиеся в клинике. Таким образом может быть отражен опыт многих клиник страны и даже нескольких стран. Для диагностики на расстоянии используется общая телеграфная сеть, снабженная телетайпами.

— А не хотите ли вы посмотреть наш кабинет электронно-вычислительной машины? — предлагает Игорь Петрович, убирая в папку вырезки из газет.

— Хочу, конечно.

Мы выходим из флигеля и направляемся через двор в больницу. Двор чисто убран, на клумбах уже высажены цветы. В этот яркий весенний день ходячие больные прогуливаются по дорожкам или сидят на скамьях, жмурясь на солнце и переговариваясь меж собой...

Приходим в кабинет ЭВМ, заведует им врач Ратмир Кузин, еще молодой человек крупного сложения, черноволосый. Игорь Петрович оставляет меня с ним в маленьком помещении с телетайпом и уходит.

И вот я попадаю в фантастический мир современной науки. Электронно-вычислительная машина находится в

Москве на Серпуховской в Институте имени Вишневского. (Мне однажды Александр Александрович показал эту огромную стенку с кнопками, экранами, лампочками, оконцами.)

Кузин объясняет мне принцип действия ЭВМ.

Через телетайпную связь из Яснополянской больницы делается запрос и посылается закодированная таблица истории болезни пациента, и спустя несколько минут врачи получают из Москвы диагноз, указанный ЭВМ. Запрос на телетайп нередко диктуется в Москву по телефону прямо из яснополянской операционной: «Проверьте диагноз на ЭВМ». А ведь в Ясную Поляну идут запросы из многих других областных больниц, и эта телефонно-телетайпная связь отлично помогает врачам в случаях неясного диагноза. Это ли не чудо?!

Я смотрю на пачки диагностических анкет, на карты-таблицы дистанционной диагностики, вижу бесконечные столбцы цифр и названия симптомов болезней и дивлюсь, дивлюсь этой великолепной технике. И все же вспоминаю слова Александра Александровича: «Однако следует помнить, что основным координирующим центром остается ЧЕЛОВЕК, его опыт, практика и его талант». И если к этому прибавить еще и отношение к больным его отца, Александра Васильевича, который считал, что надо учитывать и возраст, и характер пациента, и те особенности каждого индивидуума, с которыми ежечасно приходится сталкиваться хирургу, то можно себе представить ту колоссальную ответственность, те тревоги и радости, которые сопутствуют ему каждый раз, когда он ставит диагноз или держит в руке скальпель...

Я выхожу из лаборатории и иду в приемную к Игорю Петровичу Чулкову. Он уже заказал для меня машину, чтоб ехать на вокзал.

— Ну что, домой? — Он смотрит на меня с доброй улыбкой, и я благодарю его за помощь в моих поисках и

крепко обнимаю его широкие плечи.

## Внук А. В

Он больше похож на деда, Александра Васильевича, чем на отца, этот третий Александр Вишневский. Круглолицый, темноволосый, сероглазый, рот у него мягко очерчен, а подбородок волевой. Поэтому сразу и не разберешь, что это за характер. Серьезность в нем сочетается с необычайной смешливостью. Он молчалив и сдержан на людях, начинает говорить вроде бы с осторожностью, а речь — точная, и решения, выводы уверенные, словно бы он их давно обдумал.

Как-то после его выступления на очередной конференции в Институте экспериментальной хирургии два знакомых врача высказывались так: «Он все же не очень смело выступает, этот молодой Вишневский!» А другой врач утверждал: «Этот молодой Вишневский довольно резко раскритиковал докладчика!»

Сашины руки я вижу уже много лет. Однажды Александр Александрович, младший, подарил мне шприц. В те времена я часто выступала с музыкально-литературной композицией «:Поет Эдит Пиаф». Я ездила по городам от севера до юга. Заедешь, бывало, в какую-нибудь северную глушь, а там климат для меня, москвички, непривычен, ну и сердце начинало пошаливать — такая слабость охватывала за час до концерта, что почти в обмороке лежала я у себя в номере гостиницы. Тут надо бы впрыснуть кордиамин, а сестры под рукой нету, вот я и начала сама себе уколы делать — пришлось научиться этому. Но все же иногда случалось, что я вносила инфекцию, и тогда я срочно ехала на Серпуховку — к Вишневским. Старший был занят более серьезными делами, а младший в этих случаях всегда занимался мною. Услышав наш разговор, — а я по давней нашей дружбе называла его

Сашей, — старенькая медсестра Клавдия Тимофеевна, работавшая в перевязочной, укоряла меня:

— Чего это вы, больная, к хирургу обращаетесь так неуважительно, Сашей его кличете? Он ведь у нас давно уже Александр Александрович!

Многолетний опыт этой старушки давал ей право и сделать врачу замечание, и вовремя дать дельный совет. Вишневских она обожала и, конечно, не могла потерпеть моего амикошонства.

А Саша моет руки и успокаивает ее:

— Ничего, Клавдия Тимофеевна, не волнуйтесь, Наталья Петровна знает меня с той поры, как третьеклассником еще в коротких штанишках бегал...

Пока Саша вытирает руки, я твердо заявляю:

— В последний раз, Саша! Никогда больше не возьму шприца в руки! — На что он спокойно отвечает:

— Ничего. Я вас хорошо знаю: оклемаетесь и опять приметесь за свое... Все ведь проходит, забывается.

В его словах я чувствую легкую, добродушную иронию, которая вовсе не мешает ему относиться ко мне с уважением и симпатией.

Букву «р» Саша не выговаривает, у него получается нечто между «р» и «г» — «хогошо», «пгоходит»...

— Потегпите немножко, сейчас я вас уколю, — вежливо предупреждает он перед обезболивающим уколом. Саша дышит в марлевую масочку, все движения его уверенны, серые внимательные глаза спокойны.

— Клади спиртовую салфетку, а сверху теплую мазь! — командует Клавдия Тимофеевна, поднося салфетку, потом другую, потом накладку с клеолом. — Дня через два пропишешь ей кварц?

Саша кивает головой, терпеливо снося наставления Клавдии Тимофеевны, к которой он относится с какой-то нежностью. А она, гремя спичками в кармане, выходит на лестничную площадку покурить...

С той поры минуло десять лет. И вот, будучи уже зрелым хирургом, профессором, отцом семейства, Александр Александрович, тот самый внук А. В., сидя у меня дома на диванчике под лампой, рассказывает мне об отце, и это, пожалуй, самый достоверный рассказ.

— В чем была особенность этой натуры? Если он верил в нужность какого-то дела, то вкладывал в это дело всего себя. Он одинаково любил в медицине и практику и науку. А ведь хирургия — профессия физически очень тяжелая, сочетать эти два процесса, требующие большой организованности, нелегко.

В своих научных трудах Александр Александрович выбирал темы для разработок настолько широкие, что они охватывали целый круг проблем. Почти все проблемы, выдвигаемые им, нередко встречали сопротивлением противодействие коллег, но по мере того, как его исследования оправдывали себя, они собирали все больше сторонников.

Работа всегда велась широким фронтом, с упором на центральные, ключевые вопросы, а мелочи оставались на «потом». Причем Александр Александрович запрещал повторять чьи-либо выводы или разрабатывать «чужие идеи». Он считал, что всегда достаточно новых, интересных и актуальных проблем. Так было с кибернетикой, искусственным кровообращением, электростимуляцией, использованием полимеров. Интересно, что в разработку очередной проблемы включались все отделения и лаборатории, имевшие отношение к данной теме.

Вишневский не запрещал своим сотрудникам заниматься разработкой какой-нибудь проблемы, если видел, что человек одержим идеей. Не запрещал, даже если сам не одобрял ее, поскольку считал, что разработку одной и той же проблемы можно вести разными путями.

Александр Александрович, например, долго не признавал шунтирующих операций на сердце. Он считал, что в этом случае нужно лечить весь организм в целом и никакие временные меры принципиальной роли сыграть не могут. Между прочим, отец любил делать все сам — такова была его натура...

Я тоже вспомнила эту черту и сказала:

— Знаешь, однажды я убедилась в этом, когда привела к вам в институт своего пятилетнего внука Егорушку с жалобами на боль в животе.

Пришли мы втроем вместе с его матерью. Долго ждали в приемной, где было много народу. Секретарь, Варвара Владимировна, по очереди вызывала сидящих в кабинет, потом дверь раскрылась, и вышел Александр Александрович. Он сразу же обратил внимание на Егора, тот стоял, прижавшись к матери, и смотрел на Вишневского большими круглыми черными глазами.

— Это что, твой, что ли? — спросил меня Александр Александрович. — Внук? А что с ним?

— Да вот жалуется на боль в животе.

Александр Александрович подошел к Егору, задрал ему рубашку и, прощупав его смуглый животик, сказал:

— Ну ясно: то же самое, что было у его отца, у Андрона. Пупочная грыжа. Отца зашивали, и этого зашьем...

И тут дернула меня нелегкая сказать:

— Может быть, тебе, Шура, некогда. У тебя же столько сложных операций! Может, ты поручишь Егора Арапову?

Арапов был молодой хирург, работавший в детском отделении. Надо было видеть, как рассердило Александра Александровича мое предложение.

— Что?!. Арапов?.. Ты не доверяешь мне, что ли? «Арапову поручи»!.. Может, ты думаешь, что я стар уже, руки дрожат, шов большой сделаю? Ишь ты, Арапова ей



подавай! Нет уж, сам буду делать. Сыну делал и внуку буду делать. И ты тут, пожалуйста, не командуй!

Он повернулся и ушел к себе, хлопнув дверью. Невестка моя, Наташа, побледнела и дрожала от страха. Егорушка собирался было реветь. А мне отчего-то стало весело. Едва сдерживаясь от смеха, я ликовала. Дверь в кабинет снова раскрылась, и Александр Александрович с порога крикнул Наташе:

— Завтра приведешь своего мальчишку с утра и сдашь его Варваре Владимировне, она подготовит оформление... Слышишь, Варя!..

Вот что мне припомнилось. Саша слушал, улыбаясь, весело поблескивая стеклами очков.

— Узнаю темперамент отца. И случай этот помню. А шов Егору был сделан все-таки большой. Александр Александрович никогда не гнался за внешней стороной, там, где этого не требовалось. Точность и качество для него были важнее эстетики... А покричать любил. И на друзей покрикивал, правда беззлобно. А друзей у него было множество, и общение с ними доставляло ему радость. Перед друзьями он никогда не сдерживал своих эмоций, был искренним, и это делало его доступным, понятным и привлекало к нему людей.

Эмоциональный и искренний характер Александра Александровича проявлялся и в том, что он щедро делился своей радостью со всеми окружающими его в этот момент людьми, делая и их участниками своих переживаний. Причем причина радости могла быть как чисто личного, семейного характера, так и результатом удачно выполненной трудной операции, успешно окончившегося эксперимента, завершения монографии...

— Конечно, эмоциональность имеет и обратную сторону, — продолжает Саша. — Гнев и разносы Александра Александровича выдерживать было достаточно трудно, и настроение у сотрудников портилось, но Александр Александрович никогда не

задерживался надолго на отрицательных эмоциях, и чаще всего успешное решение какой-либо профессиональной проблемы возвращало его расположение провинившемуся на следующий, а то и в этот же день.

Профессиональные качества врачей Александр Александрович ценил наиболее высоко, но и их человеческая сущность не ускользала от его внимания, поэтому характеристики, которые он иногда давал, поражали своей парадоксальностью, и, только зная конкретного человека, можно было понять, какая это всегда была исчерпывающая и трезвая оценка.

Институт значил для самого Александра Александровича очень много, был, по существу, главным делом его жизни, его первым делом. Возвращаясь из длительных командировок, он прямо с вокзала или из аэропорта направлялся в институт, расспрашивал у шофера по дороге обо всем, что произошло в его отсутствие.

Отец мог появиться в коридоре института в любое время суток, приезжая проведать тяжелых оперированных больных или просто посмотреть, как обстоят дела.

О новом строящемся корпусе он с одинаковым удовольствием говорил и с главным архитектором, и с няней. Одного он пытал о том, что тот может предложить нового, у другой спрашивал, какие у нее пожелания.

В его жизни работа занимала основное место, и все другие интересы были ей подчинены. А в работе главным были операции. Их Александр Александрович выполнял неторопливо, истово, обстоятельно, максимально щадя ткани больного.

Например, при операциях на легких он никогда не брал ни одного элемента корня легкого, пока артерия,

вена или бронх буквально сами «не попросят» на руки...

— Мне, молодому хирургу, стоящему на ассистенции, — продолжает свой рассказ Саша, — казалось это излишним. Мне больше нравились хирурги, которые решительно, на ощупь, выполняли этапы операции. От некоторых окружающих приходилось слышать, что такая, как у отца, чрезмерная анатомичность ни к чему. Так в то время думал и я, и мне казалось, что эти операции просты и их может выполнять любой.

Теперь, когда я сам выполняю эти операции, я понимаю, что их простота была кажущейся и повторить их удастся далеко не каждому. Наступил период переоценки прошлого, и я пытаюсь восстановить в памяти приемы, которыми пользовался Александр Александрович. Спокойствие и размеренность операции могут быть обеспечены только анатомичностью ее выполнения, это гарантирует и хорошие результаты операции, и спокойный сон хирурга.

Следует заметить, что Александр Александрович мог сделать операцию и очень быстро, но, если необходимость этого не диктовалась конкретными условиями, он никогда не спешил.

Если на операции присутствовали сотрудники или врачи Центрального института усовершенствования, Александр Александрович в процессе операции постоянно общался с аудиторией, успевая осветить интересные детали выполняемой операции и особенности хирургического лечения данного заболевания в общем плане.

Александр Александрович физически был очень сильным и считал, что он может все. Если он болел, то не хотел верить в свою болезнь. Он просто не понимал, как это можно болеть. И сам, будучи сильным духом и телом, он перебарывал свои недомогания.

Истинное его «я» заключалось в том, что, переболев, допустим, какой-то серьезной болезнью, он, едва набрав силы, немедленно шел в операционную. Понятно, на сложные операции он в этом случае не решался, будучи ответственным за все свои действия, но, если его начинали уговаривать отдохнуть и какое-то время не работать, он возражал: «Да что вы! Мне необходим самый воздух операционной, он-то мне и возвращает и силы и энергию». Операционная для него была как сцена для актера. Она поднимала тонус, и он забывал о физическом недомогании. Видно, это было заложено в нем его отцом, моим дедом, — Александр Васильевич был истинным волжанином, он всегда заботился о физической и духовной крепости.

И в жизни и в науке Александр Александрович во многом следовал своему отцу. Восприняв от него многие общечеловеческие принципы, он и в науке оставался его верным и последовательным учеником и в течение всей своей жизни разрабатывал и внедрял в практику идеи Александра Васильевича, многие из которых и до настоящего времени не потеряли своей значимости. Причина такого долголетия — их научная добротность, цельность и, очевидно, истинность — ведь они выдержали проверку временем...

Саша замолкает и, спросив у меня разрешения, закуривает.

— Основное научное наследие Александра Васильевича — это созданное им учение о нервной трофике в хирургии, на основании которого разработаны методы новокаиновых блокад и местной анестезии, — снова говорит Саша. — Методы эти прошли долгое и трудное испытание в годы войны, которое подтвердило их высокую практическую ценность. В те же годы широкое применение в практике получила масляно-бальзамическая эмульсия, предложенная Александром Васильевичем. Некоторых ингредиентов, входящих в ее

состав первоначальной прописи, во время войны не было, их приходилось заменять другими — так, касторовое масло приходилось заменять рыбьим жиром. Свойства мази, конечно, изменялись, но основное свое назначение она выполняла.

В настоящее время появилось большое количество препаратов и средств для лечения ран, о которых Александр Васильевич не мог и мечтать, однако идея использования слабых раздражителей и биогенных стимуляторов для лечения ран не утратила актуальности.

Во время операций в трудных условиях хирурги часто обращаются к методу, предложенному Александром Васильевичем, — методу гидравлической препарировки тканей.

Развивая и углубляя идеи и методы своего отца, Александр Александрович разработал ряд совершенно новых проблем: использование в хирургии кибернетики и алломатериалов, разработка новых операций на сердце при врожденных пороках, создание ожогового центра и центра реабилитации больных с повреждением спинного мозга и, наконец, осуществление пересадки сердца.

Но главное, что передал Александр Васильевич своему сыну, — это его бережное отношение к человеку, гуманное отношение к больному; высокое чувство долга, огромную работоспособность и талант хирурга и экспериментатора.

Вот что рассказал мне мой друг Саша, внук Александра Васильевича, сын Александра Александровича Вишневских.

Спасибо, Саша!

## Листая страницы дневника

Дневник Александр Александрович Вишневский вел с первого до последнего дня Великой Отечественной войны. О нем, конечно, молено написать целую книгу, не ограничиваясь одной главой, ибо за этими деловыми, скучными записями стоят как события огромного значения, так и мелкие детали, неожиданно выявляющие крупным планом характер знаменитого хирурга.

В 1943 году, после прорыва блокады Ленинграда, Александр Александрович, будучи главным хирургом фронта и находясь под Новгородом в областном городке Боровичи, записал:

*«5 мая... Толстова показала мне раненого с поражением спинного мозга. Оперировал его, продемонстрировал наш прием ламинэктомии с фрезой, после откусывания остистых отростков. Долго искал пулю, наконец нашел...»*

Читая дневник Вишневского, поражаешься его бесстрашию, его мужественному поведению в самые трудные минуты, поражаешься проницательности его ума, гуманности, благородству поведения.

Значительность дневника определяется еще и богатством практического опыта в хирургии, приобретенного во время войны.

Уже во вступлении «От автора» Вишневский адресует к молодым врачам, которым «в случае надобности следует как можно быстрее найти свое место в сложной «военной машине». Это была, как он пишет, одна из причин, побудивших его напечатать свой дневник.

Дневник Вишневского начинается с 22 июня 1941 года:

*«Этот день застал меня на теплоходе «Армения», шедшем из Батуми в Одессу.*

*Мы подходили к Сухуми. Над нами раскинулось синее, в легких облачках небо. Спокойная морская гладь искрилась и отливала розоватым светом в лучах восходящего июньского солнца. Пассажиры, столпившись у борта, не сводили глаз с зеленых кавказских предгорий, местами спускавшихся к самой воде. Ничто не предвещало грозы в этот час, когда мы сходили на берег...»*

Уже по этому маленькому отрывку видно, что Александр Александрович обладал отличным литературным слогом и художественным видением. Когда я однажды принесла ему свой рассказ, он прочитал его вслух и тут же сделал удивительно меткие стилистические поправки.

— Вот здесь слово «темперамент» я бы заменил словом «неуемность», — говорил он, и я только дивилась его чуткому уху и точности определений.

Итак, выйдя на площадь в Сухуми, Александр Александрович увидел толпу, стоящую возле столба с репродуктором. *«Достаточно было взглянуть на запрокинутые вверх, сосредоточенно-молчаливые лица людей, чтобы понять, что произошло нечто исключительно важное»*, — пишет Александр Александрович. Узнав о нападении Германии на Советский Союз, уже через два часа Александр Александрович на грузовике выехал в Сочи, чтобы, кое-как втиснувшись в битком набитый вагон, выехать в Москву. Стоя у окна и думая о том, какие испытания придется перенести, он решил вести дневник, чтобы хотя бы кратко записать все, что произойдет с ним в течение дня.

В сануправлении Красной Армии были удивлены возвращением Вишневого с Кавказа, поскольку он «вдогонку» был назначен главным хирургом

Закавказского фронта. Но начальник управления Ефим Иванович Смирнов по просьбе Александра Александровича назначил его армейским хирургом на Юго-Западный фронт, то есть на самую тяжелую линию военных действий. И его направляют в Киев.

*«30 июня... Под утро прибыли в Киев. Вокруг вокзала в небе покачиваются аэростаты воздушного заграждения. В бледных лучах утреннего солнца они кажутся вылитыми из серебра. Выйдя на привокзальную площадь, я стал расспрашивать, где находится штаб, но никто не говорит, несмотря на то, что всему Киеву известно новое, недавно выстроенное здание штаба. Все боятся шпионов и считают такую конспирацию необходимой. Наконец мне удалось поймать какую-то «потерявшую бдительность» старушку, которая указала мне улицу и описала дом. В штабе пусто. Оставив вещи, отправился в город... Побрившись и позавтракав, я отправился в штаб. Здесь меня принял помощник начальника управления Юго-Западного фронта. Договорились, что поеду в Тернополь, где находится штаб фронта, и там уточнят мое назначение. Ехать советуют санитарным поездом вместе с врачом Знаменским, который получил назначение туда же в качестве армейского эпидемиолога...*

*К вечеру получил предписание явиться в Тернополь и отправился на станцию. Вспомнился 1939 год, когда во время событий на Халхин-Голе я добирался в Улан-Удэ так же, как и теперь, санитарным поездом. Начала обеих войн, для меня по крайней мере, похожи. Остается пожелать, чтобы похожими оказались и окончания их...»*

За время, что Вишневский со Знаменским в Киеве на вокзале ждали отправки санитарного поезда, фронт уже успел передвинуться из Тернополя обратно в Проскуров. Я смотрю на карту схем, приложенных к дневнику, и вижу, каким бешеным напором заставляли немцы отступать наши войска. И вот самолетом У-2 хирургов



доставляют в Проскуров, и Александр Александрович подробно описывает атмосферу начала военных действий в маленьком украинском городке. И словно воочию видишь толкотню на улочках, повозки, артиллерию, танки, гражданские машины — все это задерживает движение, образуя пробки.

Люди ищут свои части, нужные им учреждения, спрашивают друг друга. Никто толком ничего не знает. Жарко, пыльно, душно. В штабе Александру Александровичу советуют дождаться прихода отступающей армии, в которой он должен возглавить хирургическую часть.

Его поражает обстановка в сануправлении: у всех только одна мысль: «не отстать при отступлении». И вот здесь начинаешь понимать всю сложность и ответственность, возложенную на медицинский персонал. Отстать при наступлении — это значит: либо попасть в плен, либо принять бой.

Я вспоминаю военные годы в тылу, в эвакуаций, когда мы часто не вполне понимали, что происходит на фронте. Мы ужасались, когда наши отступали с потерями, ликовали, когда наши, продвигаясь вперед, отбивали у немцев города и села. И хоть мы находились в тылу, жили единой мыслью о победе над врагом и верой в нее, все же мы тогда еще не всегда представляли, что за россыпями огней салютов в ознаменование очередного освобожденного города, села, населенного пункта были груды страшных развалин, пожарища и тысячи погибших людей!

И часто, это были просто опустевшие пространства земли, на которой недавно жили, работали, строили наши русские люди!

Читаю дневник Вишневого, в котором он скупыми своими строками заставил меня сейчас, через 37 лет, все это осознать и осмыслить.

Так вот, если представить себе, что в этой чрезвычайно тяжелой военной обстановке Александру Александровичу, кроме его хирургической работы и административной ответственности, еще приходилось сталкиваться с противниками его методов лечения, то образ его предстает перед нами рельефнее не только во внешних проявлениях, но и глубже раскрывается его внутренний мир.

*«3 июля 1941 года... Опыт Халхин-Гола и особенно работа на финском фронте убедили меня в том, что масляно-бальзамическая эмульсия действует на нагноившуюся огнестрельную рану в принципе совершенно так же, как и на любой другой очаг гнойного воспаления. Бактерицидность мази и ее благоприятное влияние на трофику тканей стимулируют местные защитные механизмы. Воспалительный процесс локализуется, рана быстрее заживает... Любопытно отметить, что время от времени я встречаю скрытое, а иногда и явное противодействие со стороны некоторых врачей нашим методам лечения. Характерно также, что еще ни разу я не слышал плохих отзывов от раненых. Напротив, они обычно сами просят во время перевязок снова наложить им повязки с мазью Вишневского. Такие просьбы меня очень радуют. Совершенно очевидно, что наши методы незаменимы в условиях войны, что, разумеется, отнюдь не исключает необходимости активных хирургических вмешательств по определенным показаниям».*

Есть в дневнике такая запись:

*«4 июля... В госпиталь заходил писатель Твардовский, но я его, к сожалению, не видел. Жаль, нравятся мне его стихи».*

А было это в Проскурове, вблизи от фронтовой линии. Твардовский приезжал туда, работая во фронтовой газете, и стихи его уже публиковались в газетах и журналах. Вот одно из них:

Пускай до последнего часа расплаты,  
До дня торжества — недалекого дня —  
И мне не дожить, как и многим ребятам,  
Что были нисколько не хуже меня.

Я долю свою по-солдатски приемлю,  
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,  
То лучше, чем смерть за родимую землю,  
И выбрать нельзя.

Так писал Твардовский в первые дни войны в гуще событий. Может быть, здесь, среди молодых новобранцев, с которыми встречался поэт, и родился неповторимый и бессмертный образ русского солдата Василия Теркина, приводивший Вишневского в восторг.

Этим же числом — 4 июля — помечена еще одна интересная запись:

*«В госпитале познакомился с врачом из Дербента, который с такой любовью говорил о хирургии, что я подумал: не больше ли он ее любит, чем я?»*

Читаю эту запись и думаю о том, что так можно писать только о жене, о любимой женщине, и дальше это подтверждается фразой из дневника:

*«Смотрю, как работает врач, из Дербента, мой «соперник» в любви к хирургии. А работает хорошо, но чуть грубоват в обращении с тканями...»* Великолепная деталь, характеризующая подлинного мастера-художника в своем деле.

В каких же тяжелейших условиях развивалось мастерство Вишневского!

*«5 июля. Не успел я приехать в госпиталь, как туда привезли раненого с совершенно размозженной голенью. Я сделал ему ампутацию под местной анестезией. Прошло прекрасно, он не заметил ни начала, ни конца операции. Когда я оперировал,*

*началась бомбежка, но врачи, стоявшие вокруг операционного стола, даже не шелохнулись. Начинаем привыкать к войне.*

*После операции врачи собрались у карты, и началось обсуждение хода военных событий. На нашем направлении противник жмет на Волочийск, севернее на Шепетовку...»*

Читаешь и сразу видишь этих врачей-воинов. Вопросы хирургии сменяются чисто стратегическими вопросами, и это в одинаковой мере важно — и тут и там надо быть профессионалом, и Вишневский пишет:

*«29 июля... Большинство врачей, призванных из запаса, не умеет читать карту и ориентироваться на местности, не обладает, наконец, самыми элементарными командирскими навыками. Между тем в этой исключительно трудной войне врач не может быть только врачом. Этого слишком мало. Он должен быть организатором и командиром...»*

Если фронтовому врачу надо найти и извлечь пулю из легкого или брюшины раненого бойца, он будет делать это по всем правилам хирургической науки, иной раз при тусклом освещении свечки, которую держит сестра, а кругом в это время — ад кромешный! Падают бомбы, летят осколки, оглушают взрывы... Но и в такой критической ситуации шов у раненого должен быть сделан по всем правилам. И настоящему фронтовому врачу даже в голову не приходит мысль: а нужно ли так корпеть над швами, если в операционную может угодить бомба?

Но хирург есть хирург, и он не снимет с себя ответственности при любых обстоятельствах. А в остальном он человек такой же, как и все.

Еще запись:

*«...Ночую один, в огромном, всеми покинутом здании госпиталя на окраине Проскурова. Мысли, откровенно говоря, невеселые — вдруг немцы ворвутся в город, а*

начсанарм обо мне позабудет... В доме тихо. Я вынул револьвер и положил его под подушку. И снова мрачные мысли: «А что, если немцы сбросят десант?» Потом подумал о том, что может начаться ночная бомбежка. Действительно, этого долго ждать не пришлось. Когда послышались первые разрывы, я пошел к выходу на улицу. В коридоре упал, наткнувшись на брошенные кем-то носилки. Над городом висело несколько осветительных ракет. Бомбы рвались одна за другой. Все вокруг грохотало и рушилось! Зенитки, которые прошлой ночью стреляли, теперь умолкли. Видимо, ушли вместе со штабом фронта. Наконец немецкие бомбардировщики улетели. Стало тихо. Погромыхивали только уходящие на восток танки и орудия. Я побрел к себе, лёг и заснул. Ночью проснулся от воя собаки, такого тоскливого, что хотелось выйти и прогнать ее. Наконец вой умолк. Вскоре, повизгивая, собака вползла в комнату, чуть поскулила и улеглась где-то неподалеку от меня. Стало приятно — все-таки рядом в этом пустом доме есть «живая душа»... Утром меня разбудили несколько врачей, искавших свои части. Они удивляются, как я отважился в одиночестве провести здесь ночь. Я чувствую себя «героем», и моя бодрость передается им...»

А вот еще одна запись:

«10 июля. В Хмельниковском госпитале отругал врача, который эвакуировал раненого с переломом бедра, прибинтовав ему одну ногу к другой. А между тем рядом было полно досок, с помощью которых можно было отлично иммобилизовать конечность. Приказал за неимением стандартных шин изготовить шины из досок и впредь пользоваться ими.

Вечером оперировал одного старшего лейтенанта. У него перфорация язвы желудка. Оперировал в темноте. Санитар зажигал одну спичку за другой, жег бумагу, свернутую в трубку, и при этом «освещении» пришлось

*делать операцию, требующую довольно точных движений. Язву удалось найти довольно быстро. Наложил двухрядный шов. Операция прошла благополучно... По-видимому, хирург не должен складывать своего оружия даже в самой сложной обстановке».*

Фронтальная обстановка для Александра Александровича была неким институтом: ведь это повседневная и очень разнообразная практика в хирургии и приобретение колоссального опыта.

*«...Ведь вот как интересно получается: я, профессор, главный хирург армии, почти непрерывно изо дня в день разъезжаю по многим лечебным учреждениям, главным образом для того, чтобы учить. Однако практически, выходит так, что я не только учу, но и учусь сам у работающих со мной хирургов, получая от них много весьма полезных сведений, которые передаю другим. Ясно, что от этого выигрывают все».*

Это был такой экзамен на выносливость и мужество, на умение владеть собой, что в мирных условиях Вишневский не открыл бы в себе и десятой доли тех качеств, которые рождались на фронте. И наконец вопреки всему постоянная опасность действовала на его психологию оздоравливающе. Так, например, 16 июля он описывает случай, когда его вызвали на консультацию к больному:

*«Молодой человек — самоубийца. Нанес себе ножом 15 ран в область сердца. Открытый пневмоторакс и сильное кровотечение. Ранение трехдневной давности, пульс частый, слабого наполнения. Посоветовал пока перелить кровь, положить хорошую окклюзионную повязку на грудную клетку, холод и подождать. Чудак! В такое время кончать жизнь самоубийством!» — заканчивает Александр Александрович эту запись.*

В это трудное время сам Александр Александрович старался мобилизовать собственные физические и

духовные силы, чтобы всегда быть собранным и готовым к работе. И еще юмор! Юмор выручал его постоянно и помогал переносить все тяготы фронтовой жизни.

*«18 июля. Приказ получен, идем дальше. Взяли в санотдел еще одного врача. Только что приехал, новенький, необстрелянный. Все спрашивает, куда ему девать чемодан, — тяжело, мол, носить за собой.*

*Мы посоветовали на основании нашего опыта разделить на две части: половину выбросить здесь, другую по дороге — тогда будет легче!..»*

Юмор. Я вспоминаю мою мать Ольгу Васильевну как раз в эти июльские дни сорок первого года. Я тогда уехала с детьми вместе с семьей отца в Пески — в поселок художников, в ста километрах от Москвы. Немцы сильно бомбили этот район — там поблизости был мост через Оку возле города Голутвина. Я панически боялась бомбежек и, как только слышала гул самолета, тотчас тащила двух своих детей — Катеньку и Андрона в бомбоубежище — вырытую во дворе яму, перекрытую бревнами, — и оттуда выглядывала, переживая, пока все стихнет. А мама в это время, стоя у окна в кухне, варила на примусе кашу.

— Ты посмотри в небо-то! — кричала мне она. — Ведь это наши летят. У них на крыльях звезды! — и чертила ложкой в воздухе пятиконечную звезду, заливаясь смехом: — Вон он, летчик-то, молоденький, глядит вниз и смеется над тобой!..

И действительно, низко над землей летел наш У-2, и мы втроем разглядывали его из нашего укрытия.

— Знаешь, если ты потеряешь последний юмор, в тебя непременно попадет бомба! — серьезно уверяла меня мама. Неизменный оптимизм и присутствие духа не покидали ее никогда.

Мы все спали одетые на случай ночной бомбардировки, чтоб сразу выскочить и бежать в «щель», но мама, как всегда в мирное время, надевала

ночную рубашку и закручивала волосы на бигуди, повязывала голову голубым платочком и укладывалась спать под стеганое одеяло. Она и не думала бегать в «щель» и говорила: «Да эту «щель» вашу засыплет этим же домом, так и останетесь там, погребенные. Нет уж, я буду спать по-человечески. А вообще-то в меня бомба не попадет, потому что я смеюсь над ней!» И я помню, не раз в самые критические минуты моей жизни мама своим метко сказанным словом, своим умным и добрым юмором ставила все на место и заставляла меня трезво и разумно взглянуть на себя со стороны...

Возвращаюсь к страницам из дневника Вишневого. Читаю запись от 2 августа, свидетельствующую о какой-то внутренней «элегантности» поступков Александра Александровича:

*«...Раненый пленный ефрейтор 21 года. Я объяснил ему по-немецки, что усыплять не стану, операцию сделаю под местным обезболиванием, и боли он испытывать не будет. Он сказал «гут» и закрыл глаза и в течение операции не шелохнулся. У него оказалось семь ран подвздошной кишки, довольно близко расположенных одна от другой. Я резецировал поврежденный участок кишки на протяжении сорока двух сантиметров и наложил соустье конец в конец. Брюшную полость зашил наглухо. Входное пулевое отверстие расширять не стал — оно в горошину. После операции, пользуясь минутой свободного времени, разобрал с врачами особенности только что произведенной операции... Закончив разбор операции, выкупался в речке и вернулся в сан-отдел. В санотделе установили дежурство. Сегодня дежурю я. Кругом тишина. Хожу вокруг больницы с винтовкой в руках и думаю, думаю, думаю. Мысли безрадостные, и все же уверенность в победе не ослабевает ни на минуту...»*

Вот здесь мне хочется остановиться, чтобы еще раз воздать должное Александру Александровичу. Когда



перед ним был враг, немец, может быть, ярый фашист, он не счел себя вправе его судить, обвинять, мстить — он поступил, как гуманнейший человек, как истинный врач — сначала он должен, следуя врачебной этике, вылечить больного, спасти от смерти раненого и уж, — только потом передать его военному суду как врага. Как же надо уметь управлять своими чувствами, своим разумом, своей волей!..

Кстати, еще раз о местной анестезии. Александр Александрович очень внимательно всегда относился к болевым ощущениям пациента, я знаю это по себе — ведь мне не раз приходилось попадать к нему на операционный стол.

— Ну как, тебе не больно? — всегда спрашивал он. — Ты скажи, если больно, не терпи зря [\[2\]](#).

И я отлично понимаю его, когда он по-немецки объясняет вражескому ефрейтору, что тот боли не почувствует. При хирургическом вмешательстве Александр Александрович даже врагу не хочет причинять боли, хотя если бы он столкнулся в этом же ефрейтором один на один где-нибудь на линии фронта, он бы не стал его щадить — ведь в этом случае перед ним был бы враг. А здесь этот мастер хирургии, глядя в лицо нашего смертельного врага, успокаивает его: «Боли испытывать не будете». Такова была его профессиональная этика.

9 августа он записывает в дневнике: *«Я решил упоминать о таких случаях и дальше вместе с описанием всех будущих операций. В споре между сторонниками и противниками применения местной анестезии в условиях фронтовой обстановки эти записи могут явиться объективным доказательством справедливости наших взглядов на значение местного обезболивания в военно-полевой хирургии. Мне кажется, что и в далеком будущем описанные мной наблюдения могут представить несомненный интерес...»*

На следующий день Александр Александрович делает запись, открывающую еще одну деталь его отношения к любимому делу.

*«10 августа... Во время операции налетел немецкий самолет и начал бомбить. В операционной возникло замешательство. Некоторые рванулись к выходу, другие инстинктивно прижались к брезентовым стенам палатки. Я понимал, что все это бессмысленно, прервать операцию нельзя, и молча продолжал оперировать. Постепенно успокоились и другие.*

*Вечером смотрел, как оперирует одна девушка — хирург госпиталя. Прекрасные руки, отлично оперирует, но, к сожалению, и она не избежала общей беды. Я давно заметил, что женщины-хирурги, за редким исключением, работают «под мужчину», применяя во время манипуляций с тканями гораздо больше усилий, чем нужно. Обидно, что это как раз там, где больше, чем в какой-либо работе, можно с пользой дела применить чисто женские качества — нежность, аккуратность, осторожность. Женщины от них отказываются, словно боясь показать себя слабее мужчин».*

В 1944 году, находясь на Волховском фронте, Александр Александрович делает такую запись:

*«12 февраля... Вхожу в операционную, вижу: у одного стола столпилось много народа. На столе лежит необычный пациент — мальчик восьми месяцев, раненный в левую стопу. На ножке чистая запекшаяся кровь — такая может быть только у ребенка. На ранке корочка заживает гладко, как у зверька. Ребенка принесла старуха-бабка, матери у него нет. Фамилия ребенка Панов, имя Карл. Его отец, может быть, лежит где-нибудь под березовым крестом или торопится к своей Гретхен на запад. У сестер серьезные лица, в них борются чувства матерей и солдат. Ребенок не виноват, все это хорошо понимают, но все же как-то тягостно. Мальчик лежит молча, точно чувствует, что плакать ему*

*нельзя. Беленький, но разве у нас нет девушек блондинок?.. После перевязки старуха заворачивает его в лохмотья и шепчет: «Чем кормить тебя буду? Нагуляла вот, а самой след простыл...»*

Да... Интересно, где теперь этот Карл Панов? Ему должно быть уже тридцать пять лет, а может, ему сменили имя и он даже не знает, что рожден от немца?

В некоторых записях дневника как-то особенно явственно чувствуется личность Вишневого. Я будто слышу его речь высокого, звонкого тембра, я даже вижу его энергичное лицо в очках, его изящное сложение, не смотря на короткую шею и слегка приплюснутый бритый череп. Я ощущаю его волевою и в то же время художественно одаренную натуру, когда посреди грохота и ужаса смерти он способен наблюдать природу: *«Лежу на плащ-палатке в лесу, смотрю на землю, — пишет он в дневнике. — Муравей несет другого. До чего трогательно! Нам бы у них поучиться. А может быть, он его сожрать хочет?!.»*

А вот что происходило во время бомбардировки приднепровской деревушки:

*«12 августа... У околицы стонет, прислонившись к забору, пожилая женщина: ее ранило осколком авиабомбы. Я сделал ей перевязку и помог дойти до дома. Вместе с ней вошли в хату и мы. На полу лежит мальчик. Лицо прикрыто полотенцем, около головы лужа крови. Женщина застыла в ужасе. Я приоткрыл мертвому лицо. Она дико вскрикнула — это был ее сын. На шее у него зияет огромная рана — она выглядит так, будто хищный зверь вырвал кусок мяса. Мальчик, видимо, сидел у окна, и его убило осколком разорвавшейся бомбы. Тяжко было слышать вопли матери. У печки стоял дед, не спуская глаз с убитого при нем, внука. Вбежала девочка и принялась громко причитать: «Красавец ты мой, братец ты мой любимый!»*

*Мы вышли из хаты и, сопровождаемые рыданием женщин и детей, уехали из окутанной дымом деревни. Не прошло и нескольких минут, как машина оказалась в степи и сразу все изменилось. Стало тихо и удивительно мирно. Сияло солнце, пригибалась от ветра трава. Но вскоре небо нахмурилось, и вдруг полил проливной дождь. Дорогу размыло, и мы решили сделать Привал в небольшой деревушке. Зашли в первую попавшуюся избу. Женщины угостили нас молоком и все спрашивали: «Неужели и дальше будете отступать?» Отвечаем, что нет, а у самих на душе скверно... Как только дождь утих, тронулись дальше, к Каневу. В пути опять попали под бомбежку. Шестерка «юнкерсов» «обрабатывала» дорогу. Выбрались из машины и залегли в мокрой траве. Когда самолеты улетели, я почувствовал, что промок до нитки и изрядно обжегся крапивой. Наконец добрались до Канева. Госпиталь из городской больницы переехал в здание гостиницы, расположенной на высоком берегу реки. Отсюда открывается великолепный вид. Внизу расстилается ширь Днепра. Он чудесен даже сейчас, в ночной полутьме... Совсем недалеко могила Тараса Шевченко, вокруг небольшой лес и безбрежная украинская степь.*

*Но любоваться этим нет времени. У входа в госпиталь пахнет цветами, в комнатах — кровью. Здесь сейчас тысячи раненых...»*

В августе 1941 года Александр Александрович был назначен главным хирургом Брянского фронта. Из Москвы он вместе с хирургом Смоляницким, с которым он работал еще на Халхин-Голе, отправился в Брянск. Летели они на У-2, пилот вел машину неуверенно, ибо не знал маршрута. Разрешения сесть в Брянске не было дано, и пилот так им и сказал: «Доберетесь как-нибудь!» Все же через два часа сели в Брянске, где, как выяснилось, не было ни единого госпиталя. С трудом нашли машину, чтоб добраться до штаба фронта,

который находился, как им сообщили, «в лесу под Брянском».

Брянский лес! Знаменитый лесной массив, которому немцы нанесли огромный ущерб. Они намеренно уничтожали и сжигали лесное богатство брянского заповедника, но Александр Александрович, пробыв на этом фронте всего двадцать дней, еще застал эти дебри нетронутыми.

Штаб фронта был в стадии становления — «устройства на лесном жительстве». Был там и огромный подземный госпиталь, состоящий из множества землянок, выложенных бревнами внутри, а сверху, по накату, замазанных глиной, засыпанных песком и обложенных дерном. Этим госпиталем и должен был заведовать Смоляницкий. А Александр Александрович, устроившись в штабе фронта, в палатке, ночуя на нарах, должен был объезжать соседние городские госпитали — г. Орле, в Городище, в Речице — и походно-долевые госпитали. Всюду он наводил порядок и каждый день оперировал раненых.

Армия наша тогда отходила с немалыми потерями, и Александр Александрович видел, как эвакуируют население из городов, поджигают заводы... Ночуя в лесу, он слышал, как группами шли немецкие бомбардировщики, возвращаясь с бомбежек наших городов. Разъезжая по городам, он часто на пути видел драматичные сцены после налетов вражеской авиации. Однажды, подъезжая к Трубчевску, он увидел на дороге двух мужчин, которые, приплясывая и размахивая руками, что-то напевали. Оказалось, это пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы, — тяжкое зрелище на военной дороге!..

27 августа Александр Александрович записывает в дневнике: *«Приехал писатель Леонид Ленч.*

*Рассказывает о Москве. Будет работать в нашей фронтовой газете».*

А недавно Леонид Сергеевич Ленч, узнав, что я пишу книгу о Вишневском, любезно согласился прислать мне рассказ о встрече с Вишневским на фронте. Я решила поместить его воспоминание в эту главу.

«...В 1941 году мы с Вишневским встретились под Брянском: он был главным хирургом Брянского фронта, я — штатным писателем фронтовой газеты «На разгром врага».

Однажды в ясный, безмятежно-синий августовский день я оказался один в избе лесника, где располагалась наша редакция.

Редактор А. М. Воловец ушел в политотдел фронта, сотрудники — те, кто не уехал на передовую в командировку, — разбрелись кто куда — добывать информацию в отделах и управлениях штаба.

Я вел в газете сатирическую полосу «Осиновый кол», свой материал в номер (фельетоны, стихи, всякие мелочи и карикатуры) я еще вчера сдал Воловцу и решил воспользоваться случаем и отоспаться.

Я залез на сеновал, устроился поудобнее, но только закрыл глаза и стал дремать, как началась бомбежка.

И вдруг раздается телефонный звонок. Одни, другой, третий. Надо было слезать с сеновала! Я слез, снял трубку и услышал:

— Попросите Ленча.

— Ленч у телефона.

— Леонид Сергеевич, только что у самого въезда в Брянск тяжело ранен Митлин, он попал под бомбежку, ему оторвало осколком бомбы ногу. Вы, кажется, хорошо знаете Вишневского? Найдите его немедленно и добейтесь, чтобы он сейчас же приехал в полевой госпиталь, в надземный — он знает, в какой. Леонид Сергеевич, каждая минута дорога!

Секретаря нашей редакции Александра Яковлевича Митлина мы все любили. Симпатичный, безответный хлопотун, из породы тех газетных коренников, которые, где бы они ни работали, главную тяжесть редакционного воя берут на себя. И вот — это несчастье!

Я выбежал из избы. Боже мой, как сейчас здесь, в лесу, я найду Вишневого?! Когда я приехал на фронт, мы встретились с ним в штабной столовой, расцеловались, поговорили наспех и... я даже не успел спросить, где находится его землянка?

Я быстро пошел наугад, по лесу. И вдруг — так бывает только во сне или в кино — я увидел пробирающийся по лесной дорожке пикап. Рядом с шофером сидел... Вишневский!

Я замахал руками, закричал:  
— Александр Александрович!

Он обернулся, увидел меня, тронул шофера за плечо. Пикап остановился.

Я подошел и сбивчиво сказал Вишневскому то, что нужно было сказать.

— Понимаешь, какое дело, — замялся он, — я получил новое назначение, уезжаю сейчас с фронта, пока в Орел, — вон, видишь, чемодан уже со мной... Там в госпитале есть свои хирурги.

— Саша! — сказал я. — Надо помочь хорошему человеку. Поезжай к нему, посмотри... Я прошу тебя, Саша...

Вишневский коротко бросил шоферу:  
— В госпиталь давай. Живо!

...Уже в сумерках в притихшую пашу избу лесника вошел Вишневский. Я вздрогнул, увидев его осунувшееся, хмурое, смертельно усталое лицо, темные тени под запавшими глазами.

Кто-то подал ему стул. Он сел, обратился ко мне:  
— У тебя нет коньяку случайно?

Коньяк у меня был — на днях с последней почтой получил посылку из Москвы.

Я налил полстакана, он выпил залпом и сказал, ни на кого не глядя:

— Ваш Митлин умер у меня на столе. Я ничего не мог сделать. Газовая гангрена при плохом сердце!

...Он жалел каждого своего больного, мучился вместе с ним и сострадал ему — черта характера, свойственная всем большим русским врачам».

Вот что рассказал Леонид Ленч об Александре Александровиче Вишневском, нашем друге.

Осенью 1941-го и весь 1942 год Вишневский работает на Ленинградском фронте. Он объезжает полевые госпитали, ежедневно оперирует раненых, пишет статьи, проводит лекции, выступает на совещаниях, слушает доклады. И все это во время бомбардировок вражеской авиации и минных обстрелов. Вот что он записал на Малой Вишере 6 февраля 1942 года: *«В четыре часа дня началась сильная бомбежка. Вышел на улицу, чтобы определить, куда попадают бомбы, и вижу: прямо на нас летят четыре бомбардировщика. Я отбежал в сторону — бомба упала близко. Несомненно, сохранив самообладание на войне, человек получает лишний шанс сохранить жизнь».*

А бомба упала, между прочим, как раз на госпиталь, и там погибли многие врачи и сестры. Лишь случайно Вишневский находился в другом помещении! В этой записи он перечисляет жертвы бомбардировки. Был ранен в руку и его шофер Брыскин, которому не изменил обычный оптимизм: «Легко! Надул фрицев!»

А когда читаешь в конце записи такую короткую фразу: *«...Из Москвы прислали 50 сестер, распределял их с Соколовым по госпиталям, все просят на передовую»*, — то не можешь не восхищаться русскими



женщинами. Какая готовность отдать жизнь за Родину! Какой великий дух!

В одной из записей Вишневский пишет: *«Ведь за жизнь свою, отданную Родине, они не могли непосредственно и активно бороться с врагом, как это может делать пехотинец с винтовкой, зенитчик, танкист или летчик. В руках у наших хирургов — только скальпель! Вот почему врачи и сестры должны вырабатывать в себе особое мужество, воспитанное чувством профессионального долга и любовью к Родине. Они сражаются с врагом у операционного стола, когда вытаскивают на плащ-палатке или волокуше из огня раненых, подвергаясь при этом такой же смертельной опасности, как и солдаты, идущие на поле боя».*

Мне пришлось перечитывать эти строчки как раз после просмотра третьего фильма из эпопеи Великой Отечественной войны, созданной Романом Карменом. Эта часть посвящена блокаде Ленинграда, и потрясающие кадры-документы невозможно смотреть без слез. Пронзительно звучат слова диктора: *«Запомните эти лица! Запомните навсегда защитников-бойцов. Никто из них не вернулся из боя».*

*«Солдаты, идущие на поле боя»*, — как писал Александр Александрович. И снова вспоминаю его, который тоже был «солдатом, идущим на поле боя». И снова нахлынула на меня волна бесконечной признательности судьбе за то, что имела счастье дружить с ним, а сейчас могу пером моим воссоздать образ этого человека и еще раз поклониться памяти его...

Возвращаюсь к дневнику, и кажется мне, что я вижу крупным планом, как на экране, лицо... врага, гитлеровца. Это не просто военный противник, он «вооружен» еще и психически. Вот «памятка немецкому солдату», текст которой ошеломил Александра Александровича: *«Война скоро кончится, для победы*

*нужно напрячь все силы, забыть о нервах, о жалости. Убивай, убивай, убивай! Нежность понадобится твоей семье после войны. Фюрер обо всем думает! Каждый немец должен убить 250 русских — это норма. Сейчас мы на мировом футболе играем русскими головами, потом будем играть головами англичан, а там покажем старому дураку Рузвельту, чего мы стоим».*

Мне, русской женщине, никогда не забыть этой «памятки немецкому солдату», потому что и сейчас, почти через сорок лет, где-то раздуваются угольки пламени фашизма, зловеще перебегающие под укрытием мнимого спокойствия мирных переговоров.

Вот на какие мысли наводит меня перелистывание «Дневника хирурга»!

В 1942 году Константин Симонов написал такие стихи:

...Если ты фашисту с ружьем  
Не желаешь навек отдать  
Дом, где жил ты, жену и мать,  
Все, что родиной мы зовем, —  
Знай: никто ее не спасет,  
Если ты ее не спасешь;  
Знай: никто его не убьет,  
Если ты его не убьешь...

Так поэт Симонов отвечал на «памятку немецкому солдату», именно тому солдату, который «обязан убить 250 русских».

Гитлер призывает к преступному убийству, Симонов призывает к законному возмездию за него...

Но вернемся к рассказу о Вишневском. Как-то сын Александра Александровича — Саша говорил мне, что одно время в институте имени его деда А. В.

Вишневского, где Саша работает со студенческих времен, стали мало применять хирургию, уступая тенденции лечить больных терапевтическим путем. «А когда мало оперируешь, — говорил Саша, — уходит практика и уносит профессиональные навыки».

5 марта 1942 года Александр Александрович писал в своем дневнике: *«Утром оперировал аппендицит. Редко оперирую и чувствую, что это начинает отрицательно сказываться на моей хирургической технике».*

Хирург, подобно скрипачу или пианисту, должен ежедневно работать, чтобы не потерять техники. И видимо, чисто научный труд, как и административная деятельность, является препятствием для практики. И следует их резко разграничивать. Немногим дано удачно сочетать руководящую деятельность и профессиональную практику, за это, как правило, приходится расплачиваться собственным здоровьем.

Александр Александрович не дожил до семидесяти лет, слишком велика была отдача! Очень много сил отнимали у него административные функции и научная работа, а также борьба за отстаивание своих принципов, за свои открытия в науке и врачебной практике. Вот, к примеру, скажем, целая эпопея в его жизни, связанная с борьбой против шока.

Что такое шок? Потеря сознания во время ранения? Обморок? Пытаюсь представить себе это состояние. Когда моя внучка, десятилетняя Ольга, попала под колесо автомобиля и у нее была сломана и поранена щиколотка на левой ноге, она была доставлена в больницу в состоянии шока, что не дало возможности ни вправить кость, ни зашить раны.

— Оленька, — спрашивала я внучку, когда она поправилась, — скажи мне, что ты в эту минуту ощущала?

— Ощущение очень странное: вижу свою ногу, рваную рану, вижу белую торчащую кость с острым

концом, вижу, как льется кровь, а боли не чувствую, все словно во сне. Спрашивают — отвечаю, а что говорю, даже не соображаю, и все мне безразлично...

Итак, это удар по нервам, вызванный какой-то физической травмой, ранением, падением с высоты... Как оказалось, в состоянии шока хирургическое вмешательство не допускается, оно может привести к смертельному исходу, или, как в медицине говорится, к легальному. (Слово-то какое! Будто воздушное!)

В августе 1942 года Александр Александрович сделал в Москве на пленуме ученого медицинского совета доклад о борьбе с шоком новокаиновой блокадой по А. В. Вишневскому. И вот запись:

*«27 августа. Читал свой доклад. Он явился, в сущности, итогом наблюдений, которые мне удалось провести во время боевых событий у реки Халхин-Гол, в войне с Финляндией и в течение первого года Отечественной войны. Основываясь на личном опыте, я отметил, что самый простой, самый доступный в боевой обстановке и в то же самое время чрезвычайно эффективный метод борьбы с шоком — это новокаиновая блокада по А. В. Вишневскому. Блокада и гемотрансфузии нормализуют нервную трофику и гемодинамику при травматическом шоке...*

*Мой доклад был встречен хорошо».*

А 30 августа Александр Александрович записывает следующее: *«Вечером на секциях, где вырабатывалась резолюция по борьбе с шоком, председательствующий настаивал на том, чтобы вычеркнуть фамилию Вишневского, а блокаду оставить, упрямо называя наш способ нейровагосимпатической блокады «блоком по Бурденко». Я протестовал. Меня поддержал Банайтис».*

И вот так всю жизнь ему приходилось отстаивать свои методы, несмотря на их правильность и успешное применение в хирургии.

А ведь из-за этого метода борьбы с шоком в 1931 году, когда Александр Александрович работал в Военномедицинской академии в Ленинграде преподавателем нормальной анатомии, за спор с кем-то из его руководителей он поплатился Тем, что был послан на три года в лепрозорий под Ленинградом. Там он изучал значение нервной трофики в патогенезе и успешно лечил методом Вишневского больных проказой. Там же он и написал докторскую диссертацию, получившую высокую оценку.

В «Дневнике хирурга» среди одиннадцати схематических карт военных действий имеется лишь одна фотография, но и на ней нет Александра Александровича. Сделана она была в августе 1942 года в Архангельском во время VI пленума врачей-фронтников, когда в перерыве двадцать два участника пленума во главе с начальником сануправления армии, Ефимом Ивановичем Смирновым, решили сняться на память.

Я рассматриваю эти серьезные, усталые лица крупнейших хирургов того времени, ушедших на фронт, и среди них узнаю соседа моего по даче — Владимира Семеновича Левита, Сергея Сергеевича Юдина, с которым дружила, Николая Ниловича Бурденко и самого Ефима Ивановича, очень любившего моего отца. И вот запись в дневнике Вишневского по поводу этого снимка:

*«30 августа: После закрытия пленума небольшой компанией поехали обедать в Архангельское... Оказывается, некоторые участники вместе сфотографировались. А я и не знал. Очень жаль — хорошая была бы память...»*

Да, память осталась, хотя многих из них уже нет на свете, как нет самого Вишневского.

1943 год начинается в дневнике с записи об освобождении Ленинграда. Александр Александрович,

будучи на Волховском фронте, очень живо описывает это событие, которому сам был свидетелем. Он ездил по соседним госпиталям, медсанбатам, ежедневно оперировал раненых и внимательно следил за продвижением нашей армии. Одновременно он готовился к докладу, с которым выступил в конце апреля в Москве. И снова были «битвы» с хирургами, выступавшими против тезисов его доклада, и все же за основу была принята «классификация ранений суставов по Вишневскому».

Впрочем, видимо, в таких спорах и рождается новое.

В августе этого года Александр Александрович сам оказывается в положении «раненого». Выучившись на фронте водить машину, однажды он поехал в Тихвин для осмотра тамошнего госпиталя, по дороге попал в аварию и вот как описывает эту историю:

*«26 августа... Дорога идет лесом. Решил сесть за руль. Отличное ровное шоссе, я прибавил газу и, задумавшись, резко повернул руль, затем повернул его круто в обратную сторону и, растерявшись, вместо тормоза сильно нажал на акселератор. Машина рванулась, перескочила через кювет, я вылетел из нее и очень сильно ударился левым плечом о землю. Через меня перелетел шофер, а машина все еще продолжала двигаться по инерции. Когда она наконец остановилась, я поднялся и сразу задал себе вопрос: «Перелом или вывих?» Состояние было весьма неважное, хотя боли в первый момент я не почувствовал, видимо, из-за местного шока...*

*Любопытно, что я никогда до этого не ломал костей, а между тем ощущал боль при движении костных обломков как чувство совершенно знакомое. Неожиданно полил сильный дождь, даже с градом, машина была открытая, и я сильно промок. Последние двадцать километров ехать было очень трудно. Наконец добрались до Тихвина, и я с Данюшевским отправился в*

госпиталь. Попросил позвать доктора Чеглецова и рентгенолога... Когда меня повели в рентгеновский кабинет, я сам взобрался на стол, твердо решив не стонать. Сделали снимок, проявили, начали шептаться. Я поднялся, подошел к экрану и увидел — вывих плечевой кости, вколоченный перелом шейки и отрыв большого бугра. Пошли в операционную. Я сел на табурет и показал Чеглецову точку в центре дельтовидной мышцы. Он сделал анестезию кожи, затем взял большую иглу, и я скомандовал, чтобы он через кожный желвак продвинул иглу поглубже до кости и непрерывно по ходу движения иглы вводил раствор новокаина. Делал он это нерешительно, из иглы периодически выступала кровь... Начали отводить плечо, и отведение прошло безболезненно. Я почувствовал радость и гордость за наш метод».

Два месяца Александр Александрович лечил сломанную руку, проверяя на себе работу рентгенологов, медсестер, на собственном опыте делая разные профессиональные наблюдения. Даже находясь на положении больного, он не прерывал работы за столом, писал статьи и предисловие к сборнику материалов о военно-полевой хирургии, редактировал. Дневник за это время пополнился интересными записями-размышлениями о моральном облике врача-хирурга, о конвейерном обслуживании раненых бригадами, о многом другом. И вот наконец такая запись:

«2 ноября. Утром сделал массаж руки и пошел оперировать. Это первая моя операция после перелома. Раненый — Бахарев Иван Афанасьевич. Пуля лежит в средостении между пищеводом и аортой. Решили идти через брюшную полость — рассечь диафрагму. На операции присутствуют человек тридцать курсантов. Помогает Ляховицкий. Разрезал диафрагму, щупаю пулю, а вынуть не могу, нет инструментов. Наконец

*вынул. Спрашиваю: «Заметно, что рука была сломана?»  
Говорят: «Нет». Не знаю, успокаивают или на самом деле».*

Но я, читая эту запись, подумала: пуля эта пробыла в теле Бахарева полтора года. Через две недели после ранения Бахарева с диагнозом «непроникающее ранение» выписали в часть. После того он еще дважды был ранен, и каждый раз, подлечив, его отправляли на фронт. И только, когда он стал жаловаться на боль в сердце и затрудненное дыхание при перебежках, снова отправили в госпиталь, сделали рентген, обнаружили пулю и положили на операцию к Вишневскому.

1944 год начался для Вишневского с освобождения Новгорода Великого. Наши части уже гнали вражескую армию вспять — на запад. В дневнике Александр Александрович день ото дня делает подробный отчет о продвижении наших войск, в который вклиниваются короткие информации вроде таких: «В 13-м госпитале прооперировал раненого с тяжким повреждением локтевого сустава». Читаю и вижу, что Александр Александрович живет вместе со всей армией единой заботой — как можно скорее прогнать врага с родной земли. И здесь особенно явно проявляется у Вишневского унаследованные от деда-воина качества — самодисциплина и чувство высокого патриотизма.

Теперь, читая дневник, я начинаю понимать, почему за многие годы нашей дружбы всего два или три видела Шуру в штатской одежде (которая, кстати сказать, шла ему). И не случайно на его портрете работы моего отца из-под белого халата у Александра Александровича видны синие генеральские брюки с красными лампасами. Как солдат со штыком, так шел Вишневский со скальпелем вслед за нашими частями, двигавшимися на штурм Новгорода Великого, страстно беспокоясь о том, что наши медсанбаты не успевают за быстро продвигающимися вперед войсками. Он досадует



на плохую переправу через Волхов, где дорога вдоль берега забита войсками, и радуется, когда медсанбаты ухитряются вклинуться между ними, чтобы вовремя подать помощь штурмующим.

*«20 января. Подъезжаем к городу. Слева по шоссе большие белые дома. «Вот где надо развернуть госпиталь», — решаем мы с Песисом. Каменные белые ворота, над ними красный крест и черными буквами написано: «Militärkrankenhaus»... [3] Идем в дом, везде нам чудятся мины, но, видимо, у победителей неизменно по-является потребность найти трофеи, и мы скоро забываем о минах. Правда, у меня этот инстинкт носит особый характер, и я преимущественно интересуюсь книгами и газетами. Очень любопытно узнать, чем жили, о чем думали эти люди. Ведь непроходимая стена встала между нами и ними, и стене этой больше двух лет.*

*Скоро мне удалось разыскать письма, документы, книги и газеты за 11 и 12 числа. В этой же комнате валялось громадное количество бутылок из-под французского шампанского. В одной из газет опубликованы новогодние речи Гитлера и Геринга. Тон их совершенно иной, чем в начале войны. Речь идет уже не о победе над всем миром, а о тяжелых испытаниях, которые предстоят Германии, и о напряжении, которое должно быть проявлено, чтобы спастись от разгрома. Кругом следы быстрой эвакуации. Внешний вид помещения напоминает собой то, что я видел при отступлении наших госпиталей. Видимо, сходство это не случайно...*

*Сели в машину и поехали дальше. Справа большое немецкое кладбище. Из кирпичей устроены памятники с большими железными крестами. Ровными рядами стоят эти кресты. По-видимому, так оке ровно, как стояли когда-то в строю люди, что теперь под ними лежат. Я бы это кладбище не уничтожал, а сделал над входом*

надпись: «Кто пришел к нам с мечом, от меча и погибнет».

Въезжаем на площадь: вокруг ни одного целого дома. Здесь масса войск, все двигаются дальше. Ведут пленного немца «издания 1944 года» — ободранный, грязный, без шапки, движения у него вялые, взгляд бессмысленный. Ведет его молоденький красноармеец, почти мальчик.

«Товарищ генерал, — обращается к Песису конвоир, — где здесь штаб дивизии?» — «Не знаю», — отвечает Песис. «Ищу, ищу, умаялся прямо!» Ничего ему не отвечая, мы идем дальше, к кремлю. Направо — памятник «Тысячелетие России», все его фигуры сняты, распилены и лежат на земле. Пожарский лежит на спине, замахнувшись мечом. Даже и лежащий, он угрожает врагам. Здесь же Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Крылов. Налево — Софийский собор, купол его разрушен. Внутри все покрыто инеем, но под ним все же можно рассмотреть часть фресок. В углу лежат убитые немцы — человек шесть. Это, по-видимому, умершие здесь тяжелораненые. Я внимательно рассмотрел их. Меня всегда интересовало, в каком виде в других армиях раненые солдаты поступают с поля боя в медицинские учреждения. Смотрю, лежит раненый с перебитой бедренной костью. Имобилизация сделана очень слабо прибинтованными к ноге двумя короткими грязными палками. Жалкое подобие шины.

Из собора мы пошли к выходу из кремля в сторону моста. Немцы, отступая, ночью взорвали его, причем взрыв, видимо, был громадной силы — примерно на три километра вокруг взорван лед. Возвращаясь в кремль, встретили члена Военного совета 59-й армии генерала Лебедева, поздравили друг друга с победой...

20 января 1944 года в Москве был дан салют войскам Волховского фронта, освободившим Новгород».

В этой записи, которую я умышленно беру не сокращая, отчетливо проявляется характер Вишневого, его любознательность, жадность и зоркость глаза. Я вижу, как поразило его вид разгромленного Софийского собора и как ищет он взором под иконой на стенах уцелевшую кое-где дивную фресковую роспись, сделанную еще в XI веке русскими мастерами, и тут же, внизу, под ними видит убитых и раненых немецких солдат и тщательно рассматривает, как немцы накладывают «шину» на перебитую бедренную кость раненого.

Я ощущаю в этих записях прирожденную и самовоспитанную пытливость ума Вишневого. Я поражаюсь постоянному психоанализу, поискам в окружающих его людях общечеловеческих черт и различий и вдумчивому, чисто философскому подходу к увиденному.

Надо учесть, что все это лежит за короткими, беглыми строками дневника, и только когда сам вчитаешься в его страницы по нескольку раз, увидишь всю чуткость души, неповторимость и тонкость мышления Александра Александровича.

Надо еще заметить, что за тридцать пять лет, прошедших со времени написания этого дневника, медицина, наука и техника необычайно шагнули вперед. И за этот промежуток времени произошли такие огромные изменения в бытовых и творческих условиях, что, казалось бы, многое отошло в область преданий. Может быть, так оно и есть!

Но... как раз здесь-то и хочется вспомнить, что у всякого могучего дерева, растущего вширь и ввысь, есть корни, которых мы не видим, но которые нельзя подрубать, ибо только они дают новые побеги и плоды!

Весна 1944 года застаёт Вишневого уже на Карельском фронте.

*«14 февраля... Лёг спать рано, вдруг вызывают к Песису: «Поздравляю, мы уже не существуем, Волховский фронт ликвидируют, все наши армии передают Ленинградскому фронту, а первую ударную — 1-му, Прибалтийскому». Стало грустно. Столько времени работали вместе, а теперь расставаться, привыкать к новым людям, все начинать заново...»*

Вишневский уже не главный хирург фронта. Он ждет, куда его назначат. Его удручает неизвестность.

*«28 февраля. В санитарном управлении никто ничего не делает, меня томит ожидание. Кругом война, все кипит, а мы бездельничаем, какие-то «лишние люди»...»*

В начале марта был решен вопрос, и полковника Вишневского приказом направляют на Карельский фронт. Снова, как и в 1942 году на Волховском фронте, начальником санитарного управления назначен Песис, который был тогда в чине генерала. Управление Карельского фронта находится в деревне Выгостров на Беломорканале и обслуживает пять армий на протяжении 1600 километров — от Баренцева моря до Ладожского озера.

Вместе с Вишневским снова работают фронтовой терапевт Молчанов и хирург Бардин.

Александр Александрович все время в поездках, он обследует госпитали в Мурманске, Кандалакше, Кировске, Беломорске, Кеми и множество полевых госпиталей и медсанбатов. Везде оперирует и проводит беседы с врачами.

Интересно, что когда ему приходится оперировать больных с такими «мирными» болезнями, как аппендицит или язвенная болезнь, то он делает это с удовольствием: его охватывает ощущение возврата к мирной жизни. *«Вероятно, — пишет он в дневнике, — так должен чувствовать себя солдат, вчерашний крестьянин, меняющий винтовку на плуг».*

Впечатления от картин природы в записях Александра Александровича постоянно сопутствуют кратким деловым сообщениям, они врываются совершенно непроизвольно и придают свежесть и яркость.

*«1 апреля. Утром посмотрели в Кандалакше еще один госпиталь, потом поехали в санитарный отдел 19-й армии. Горы покрыты снегом, голые скалы, ослепительно блестит на солнце снег. Кое-где он уже начинает таять. По обе стороны дороги устроены канавы и ниши для машин, сугробы до трех метров...»*

А вот как описывает Вишневский Мурманск: *«Вечером пошли смотреть город. Очень красива темная вода залива на фоне покрытых снегом гор. Масса кораблей — прибыл транспорт. Почти все корабли — стандартные, строившиеся, вероятно, в Америке. Город сильно разрушен. На улице можно встретить моряков различных национальностей: негров, малайцев, в расстегнутых куртках, без шапок, с широкими, во все лицо, бородами, американцев. На этом фоне особенно выделяются прекрасно одетые, с блестящей выправкой и неизменными трубками во рту английские офицеры.*

*Пошли смотреть бомбоубежище, устроенное в скалах. Громадные залы в нескольких этажах. Никакая современная бомба не может быть опасна для жизни находящихся здесь людей. Смотрели заграничную цветную кинокартину «Конец Гаваны».*

Северный флот... Вишневский у главного хирурга флота Арапова — в городке Полярном. Здесь «большие каменные дома, прямо как в Москве», — удивляется Вишневский.

Он восхищается Араповым, «который ведет себя, как настоящий моряк». Он очарован гостеприимством Арапова и его обаянием и доволен отлично устроенным в скале госпиталем.

И все это описание пронизано умением Александра Александровича оценивать внутреннюю культуру людей, с которыми ему все время приходится сталкиваться. Он ищет ее в них и откликается на нее мгновенно.

Майские дни на Карельском фронте отмечены в дневнике следующими записями:

*«1 мая. Идет снег. Пошли с Молчановым гулять на реку, параллельную Беломорканалу. Река красивая, широкая, через нее перекинут хороший, мост, рядом плотина. Немного подальше два порога, зрелище потрясающее. Берега усеяны громадными камнями, между ними попадаются участки земли, на которых сажают картофель и другие овощи. Много прошлогодних ягод, выглядывающих из-под снега. В середине реки и на ее изгибах живописные маленькие островки, поросшие соснами. Построить бы здесь маленькую дачку и отдыхать в теплые летние месяцы! Ловить бы рыбу, охотиться!»*

Запись, в которой Александр Александрович раскрывается, как отличный хозяин, охотник и рыбак, как человек, не чуждый лиризма, умеющий видеть и ценить красоту природы.

*«2 мая. Праздники продолжаются, а я сегодня оперировал больного с абсцессом легкого. Впервые встретился с необходимостью оперировать двумоментно...»*

*«3 мая. Утром был в госпитале. Пока смотрел раненых, приехал мой шофер с простреленной машиной и весь окровавленный. Оказывается, когда он проезжал по мосту, в него по ошибке дали очередь из автомата. Часовой хотел задержать двух стоявших на мосту мужчин, которые показались ему подозрительными. Пули — шесть штук — попали в лобовое стекло, как раз в то место, где я обычно сижу. Если б я не остался осматривать раненых, то наверняка был бы убит. В*

*конце войны в Беломорске, да еще по ошибке — совсем уж нелепо...»*

В конце мая Александр Александрович получил разрешение съездить в Москву. В дневнике есть интересная запись:

*«29 мая. Рано утром отправился на вокзал. Ждем поезда вдвоем с Н. С. Молчановым. Усевшись в вагон, узнали, что в этом же поезде едет в Архангельск Д. А. Арапов. Пошли к нему. У него оказалась водка и прекрасная копченая треска. Ехать стало значительно веселее».*

В Москве Александр Александрович был принят Е. И. Смирновым и стал просить перевести его с Молчановым на другой фронт. Молчанову Смирнов отказал, а Вишневскому обещал перевод на другой фронт, более действенный. Но это не сбылось: командующий фронтом Мерецков предложил оставить Вишневского на месте. Видимо, этому были серьезные предпосылки, поскольку готовилось наступление на левом фланге между Ладожским и Онежским озерами. И Александр Александрович записывает в дневнике:

*«17 июня. Утром вернулся в Алеховщину. То, что я увидел за эти дни, меня очень встревожило.*

*Санитарная служба армии, имея малое число лечебных учреждений, была поставлена в трудные условия обеспечения наступательных действий войск...*

*Посмотрев лечебно-эвакуационный план, я сразу же увидел, что предполагаемые потери значительно превышают наличие мест в госпиталях.*

*Обстановка такая, что вот-вот начнется наступление, а сил и средств у санитарной службы явно недостаточно...»*

И вот Вишневский вместе с Песисом собирает совещание корпусных и дивизионных врачей-командиров медсанбатов и ведущих хирургов, на котором ставятся задачи по лечебно-эвакуационному

обеспечению войск в связи с предстоящим наступлением.

После совещания Вишневский с хирургами и начальниками корпусов едут на передний край — в город Лодейное Поле. Александр Александрович видит, что от противника их отделяет только река Свирь. Он видит, что вдоль дороги к берегу уже вырыты довольно широкие ходы сообщения. Он думает о том, что нельзя будет свободно подтянуть войска к реке в эти июньские белые ночи. Он осматривает окраины города, где в деревянных уцелевших от бомбардировок домах расположились военные части. Он обеспокоен всем этим. С присущим ему чувством ответственности он обдумывает происходящее, и от 31 июня мы читаем в дневнике такую запись:

*«После мощной артиллерийской подготовки, продолжавшейся три с половиной часа, наши части, нанося основной удар левым флангом (район Лодейного Поля), форсировали реку Свирь и начали развивать наступление в направлении на Олонец вдоль северного побережья Ладожского озера (схема № 8).*

*Я находился в окопе на наблюдательном пункте в районе Лодейного Поля и мог видеть, как наши солдаты под огнем противника переправились через Свирь и захватили маленький плацдарм на противоположном берегу.*

*Разлившаяся после взрыва плотины Нижнесвирской гидростанции река была серьезной преградой для наступления. Местами ширина ее достигала 500–600 метров. За первыми людьми, переправившимися буквально вплавь, шли лодки, затем плоты, амфибии и понтоны для будущего моста.*

*На наблюдательном пункте собралось начальство. Мимо везли раненых, их было немного, но обслуживать их нелегко. Убедившись, что дело налаживается, я поехал в медсанбат.*



*В небе — наши самолеты. Как вся картина, которую я видел, непохожа на то, что было в начале войны. Подумать только! Враг дошел до Москвы, блокировал Ленинград. И все же мы выстояли и теперь наступаем. Партия сумела в этих труднейших условиях организовать народ и армию для победы. Перебазировав на восток крупнейшие промышленные предприятия и мобилизовав все на оборону, страна снабдила армию первоклассной боевой техникой, мы получили большое количество самолетов, замечательных танков, орудий и, наконец, уникальных минометов — «катюш». Вот когда мы начинаем брать реванш у фашистской Германии! Мысли об этом целиком поглотили меня и породили чувство гордости за подвиги советского народа».*

25 июня в Москве за форсирование Свири и успешно развивающееся наступление был дан салют в честь войск Карельского фронта.

У Александра Александровича большое беспокойство вызывает недостаточно четко налаженная медицинская помощь раненым. Успеть вовремя вынести с поля боя раненых, остановить кровотечение, оказать необходимую помощь и т. д. и т. п. — разве перечислишь все, что входит в функции медсанбатов, подающих на первую линию госпиталей, на операционные столы раненых, которых после обработки эвакуируют на вторую линию госпиталей.

А наступление идет, и снова рвутся гранаты и мины, падают бомбы, и снова люди в белых халатах ползут, бегут к упавшим на землю бойцам и сами нередко падают ранеными и убитыми...

А фронт движется, и в такие моменты госпитали бывают переполнены, работать становится трудно. И только при полной стабилизации фронта или, как говорится на обиходном языке, в «затишье» удастся создать благоприятные условия для оказания хирургической помощи раненым и больным. И Александр

Александрович как руководитель санитарной службы постоянно чувствовал себя виноватым при возникающих неполадках, при неумелой организации работы в медсанбатах, при плохом снабжении медикаментами и санитарным оборудованием. Он «болел» за каждое упущение, за каждый промах.

*«10 июля... Поехал в Видлицу оперировать командира корпуса Голованова. Ранение очень тяжелое. У него вырваны обе грудные мышцы, раздроблен правый плечевой сустав. На рентгеновских снимках виден большой металлический осколок.*

*Во время операции установил, что металлическое инородное тело — это планка от ордена. Я иссек поврежденные участки мышц, удалил свободные костные осколки, в глубине раны убрал кусок шинели и металлическую планку. Операция шла под местной анестезией».*

А ночью этого же числа Вишневого вызвали в Олонец, чтобы оперировать генерала Калашникова, начальника политуправления фронта.

*«11 июля. Закончив в семь утра оперировать Калашникова, поехал домой, чтобы уснуть, но приехал Куслик. Пришлось отправиться с ним в Видлицу. Прооперировал там раненого с гнойным гонитом — по нашему способу. Потом занялся одним слишком осторожным начальником госпиталя, который поднял панику и освободил весь дом, услышав «тиканье часового механизма мины». Я послушал и отчетливо услышал работу жучка, который испуганно замолкал при постукивании.*

*Ночевать поехал в Олонец. Здесь на площади повесили изменника Родины. Вешать изменников, конечно, нужно, этот, например, застрелил при финнах из охотничьего ружья двух наших раненых и заслужил такой конец, но посмотреть, как это делается, я бы не*

*стал... Говорят, для «неустойчивых» полезно. Ну пусть такие и смотрят».*

Очень интересно проследить характер мышления Вишневого по этим записям. То, что его волновало, удивляло или возмущало, непременно находит место в лаконичных записях, и порою одна лишь строка дает целую картину происходящего и отношения к нему автора дневника.

В записях перемежаются описания сложнейших хирургических операций с описаниями фронтовых событий, стратегических операций наступления наших войск на финской границе и освобождения Петрозаводска. Я смотрю на карту-схему Карельского фронта, на красные стрелы движения советских войск между Ладожским и Онежским озерами, вижу эти поименованные кружки по берегу Ладоги — Сортавала, Паткеранто, Видлица, Олонец... и мысленно вычерчиваю себе пуганую сеть маршрутов Вишневого, весь год метавшегося между этими городами, — то самолетом, то в машине, то случайными поездами, то пешком по вызовам в госпитали и медсанбаты, — и все это под обстрелами финнов с земли, с воды и с неба. Причем в это же время Александр Александрович пишет статьи о лечении ранений, переделывает их, обрабатывает и отправляет в тыл для опубликования.

И все же среди этого напряжения не ускользает от его глаз неопишуемая красота Ладожского озера и окружающих его хуторов с домиками, выкрашенными в красный цвет, с белыми наличниками окон. Он любуется красивейшей дорогой от Олонца до Петрозаводска: сплошной еловый лес с краснеющими на его фоне ветвями рябины. Он удивляется и восхищается порядком финских хозяйств на оставленных ими советских землях. Войска Карельского фронта при поддержке Северного фронта завершили освобождение Карелии и, преследуя отходящие части, вступили на территорию Норвегии,

положив начало освобождению ее территории от врага. «Вот ведь как здорово!» — пишет Вишневский.

26 октября Вишневский вместе с врачами Песисом и Никишиным въехали в норвежский город Киркинес. В дневнике имеется такая запись: *«Обширный залив, окаймленный горами. Встречаем первых норвежцев: их трое — юноши, блондины, один, что повыше, — с трубкой. Едем по улицам, домики узкие, высокие, с широкими окнами и остроконечными крышами. Женщины хорошо одеты. Молодые девушки без головных уборов. Мужчины часто с трубками во рту, широкоплечие, в пиджаках и свитерах с национальным узором. Подъезжаем к подвесному мосту. Он взорван. Наши части переправляются на понтонах и амфибиях. Впервые увидел, как амфибии переплывают через фиорд. До Киркинеса еще 8—10 километров. Дорога минирована, вокруг много ям от вырытых мин. Прождав несколько часов, поехали окружным путем, но, проехав несколько километров, вернулись, потому что дорога взорвана и два километра пути еще не разминированы. Решили переночевать в медсанбате, а утром двигаться дальше... Приехали в медсанбат и разместились в палатке. Кто из нас когда-нибудь мог думать о том, что придется ночевать в палатке в Норвегии? Не спалось. Много впечатлений — ведь за несколько часов мы побывали в СССР, в Финляндии, в Норвегии. Я вышел из палатки, ночь была звездная, в небе горело северное сияние...»*

Вишневского снова переводят в Беломорск. В ожидании свертывания госпиталя Александр Александрович отбирает раненых для очередных операций. Ему предстоит извлечь осколок из сердца раненого бойца Захарова. Я привожу полностью эту запись, поскольку она дает представление о мастерстве хирурга и о его человеческих качествах.

«16 ноября. Ночь спал плохо. Снились какие-то страшные сны. Часто просыпался и думал о предстоящей операции. Утром пришел в госпиталь, взял там рентгенограмму и пошел с ней в морг, там вскрыл труп и уточнил с рентгенологом расположение осколка в сердце. После этого пошел оперировать.

Начал операцию с двухсторонней блокады блуждающих нервов... Аккуратно дошел до сердечной сорочки, вскрыл сердце, оно билось перед глазами... Осторожно стал ощупывать его поверхность. Больной слегка реагировал, и сердце забилося быстрее. Обнаружил плоскостное сращение между сердцем и перикардом. Разъединил спайку и нащупал на сердце острый осколок, немного выступивший наружу. Осколок располагался на границе между правым и левым желудочками, ближе к правому... беру сердце сзади левой рукой (раненый жалуется на неприятное ощущение) и тихонько скальпелем стараюсь выпрепарировать осколок. Сердце все время сильно сокращается, боюсь, как бы осколок не провалился внутрь. Ведь толщина стенки правого желудочка всего лишь 0,2 сантиметра. Вдруг пинцет провалился под осколок внутрь сердца. И сразу же вся сердечная сорочка полна крови. «Крючки! Расширяйте рану!» Отвечают: «Он в обмороке». — «Он и должен быть в обмороке». Я думал, что говорят о раненом, а оказалось, в обмороке ассистент, который должен был держать крючки. Больной стонет: «Помогите! Умираю!» И вот в этот момент я наконец изловчился и наложил первый шов на разрезанную стенку сердца. Вытер кровь, наложил еще два шва. Раненый успокоился, и я вынул осколок...

К концу операции больной чувствовал себя удовлетворительно, причем вся операция была выполнена под местной анестезией...»

Меня всегда поражают те простота и точность, с которыми Александр Александрович описывает самые сложные хирургические операции. Он не загружает рассказ профессиональными терминами, он рассказывает «для читателя». Рассказ его — это всегда интересная беседа талантливого человека, умного и тонкого наблюдателя.

За раненым Захаровым Александр Александрович будет следить целый месяц. А потом он оставит его на попечение отличного врача-хирурга Афанасьевой, которая ассистировала ему во время этой операции.

Как раз в эти дни был дан приказ о расформировании медицинского управления и штаба и перевода в Ярославль. Началось передвижение, но госпиталь в Беломорске все еще продолжал функционировать, и Александр Александрович, будучи постоянно в разъездах, строго наказывает ежедневно сообщать ему о состоянии раненого Захарова.

*«17 ноября... Рано утром приехал в госпиталь. Волнуюсь, вхожу в коридор и по лицам врачей и сестер пытаюсь установить: жив ли мой раненый? Жив! Иду в палату, состояние у него тяжелое, но появляется надежда. Жалуется на боль в сердце. Сделал необходимые назначения...»*

*«18 ноября. Эту ночь проспал как следует. Песис предлагает ехать в Петрозаводск на хирургическую конференцию ФЭНа. Очень не хочется, жаль бросать оперированного. Утром поехал в госпиталь. Он чувствует себя лучше. Сердце его почти не беспокоит, но тут новая беда — намечается пневмония. Даю точное расписание всех назначений и прошу каждый день телеграфировать мне в Петрозаводск...»*

*«19 ноября... Наконец получил телефонограмму: «Состояние Захарова на 6 часов вечера 19 ноября: явление левосторонней пневмонии...»*

«20 ноября. На совещании вручали ордена. Снова пришла телефонограмма: «Состояние больного Захарова, несмотря на наличие двухсторонней плевропневмонии, лучше. Ночь спал...»

«21 ноября... Вечером пришла телеграмма: «Состояние Захарова значительно лучше — утром 37 градусов, вечером 38 градусов. Дыхание продолжает оставаться болезненным, в легких влажные рассеянные хрипы, пульс 120, ритмичный, рана в хорошем состоянии, сон хороший, появился аппетит».

«22 ноября... Телеграммы о состоянии Захарова почему-то не было».

«23 ноября... О Захарове нет сведений. Неужели умер? У меня все время в памяти его голос во время нашего разговора после операции: «Профессор, милый вы мой!!!» За таких пациентов сам готов жизнь отдать... После операции, когда спрашивал о самочувствии, он отвечал: «Хорошо! Спасибо вам!!» А ведь бывают такие, которых лечишь, а они все говорят: «Так же» или: «Хуже» — и при этом смотрят на тебя так, словно ты виноват в их болезни.

Завтра еду в Беломорск».

«24 ноября. Поезда в Беломорск нет, отменен. Приходится ждать до завтра. Получил телефонограмму о «состоянии здоровья Захарова»: "Наблюдается дальнейшее улучшение. Рана в хорошем состоянии. Пульс 104, ритмичный, пневмония еще держится. 23 ноября произведена блокада по Вишневскому. После блокады наблюдается улучшение самочувствия, температура утром 37,1 градуса».

«26 ноября. Ночь в вагоне спал плохо. Утром смотрел Захарова. Его немного лихорадит, но уже ест и улыбается. Афанасьева где-то достала книгу Джанелидзе о ранениях сердца. Читал ее запоем, прекрасно написана...»

*«1 декабря. Прямо с поезда поехал в госпиталь. Захаров чувствует себя хорошо! Пневмония у него почти разошлась».*

*«6 декабря. Был в госпитале. Сделал Захарову рентгенограмму. Сердце после операции увеличено. Я часто наблюдал это после ранения сердца».*

*«10 декабря. Пришел приказ мне и Молчанову выехать в Ярославль. В последний раз навестил Захарова, он чувствует себя хорошо. Обменялись адресами. Обещали писать друг другу».*

Рассматриваю снимки в газетных вырезках, военных лет, собранных в массивный альбом сыном Александра Александровича — Сашей. И вижу Александра Александровича — худенького, молодого, в валенках, в ушанке и ватнике, прислонившегося к старинному пузатому автомобилю — видимо, трофейному. Такой он здесь скромный, трогательный «очкарик». А внизу подпись: «Профессор А. А. Вишневский, награжденный орденом Ленина за образцовое выполнение боевых заданий...»

А вот шарж художника Пророкова: Александр Александрович в ватнике и ушанке, поверх них — белый халат с красным крестом, за плечами автомат, у пояса две гранаты с привязанными к ним рецептами, гласящими — «белофиннам». Вишневский похож необычайно, внизу подпись: «На операцию». Профессор А. А. Вишневский».

И еще портрет, сделанный художником Титовым: «Бригзроч А. А. Вишневский, награжденный орденом, Отечественной войны 1-й степени». Под портретом приказ от 18 марта 1942 года о награждении Вишневского орденом.

Еще приказ, уже от 1945 года, о присвоении звания генерал-майора медслужбы А. А. Вишневскому.



Приказ о награждении орденом Красного Знамени, еще приказ...

Читаю статьи Александра Александровича, опубликованные в газете «Красная звезда»: «Хирургия на войне», «Доктрина врача» и много других статей. И еще больше статей о нем самом, и в каждой — горячий и заинтересованный разговор о методах Вишневских — о местной анестезии, блокадах, о бальзамической мази...

Я с удовольствием читаю большую статью Емельяна Ярославского «Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне», в которой он отдает дань глубокой благодарности армии медицинских работников во главе с известными всему миру академиками и учеными — Бурденко, Орбели, Вишневским. Эта статья о тех, кто самоотверженным трудом своим спасает жизнь тысячам бойцов, возвращая их в строй.

Читаю статьи разных авторов, полные горячей благодарности хирургу Вишневскому и восхищения его операциями, о которых Бурденко сказал так: «Они требуют от хирурга головы ученого, глаз снайпера и рук ювелира».

Читаю и вспоминаю встречу нового, 1945 года, года Победы. Для Александра Александровича встреча эта в Москве прошла как бы незаметно.

*«31 декабря. Вечером был у родителей. Чужих никого не было, поужинали и легли спать. За стеной в соседней квартире всю ночь шло веселье».*

Мы праздновали первые дни нового года, а в это время Вишневский уже летел из Москвы в Ленинград, а оттуда в Петрозаводск и снова в Ленинград. Он курсирует между городами, оперирует в госпиталях, обследует их работу. Александр Александрович сетует, что в дни, когда началось генеральное наступление, ему приходится мотаться по госпиталям в тылу. *«Неужели нам ничего не поручат?»* — записывает он в дневнике 17 января. — *Обидно, что в такое время приходится сидеть*

*в Ярославле...»* В Ярославле временно находилось резервное санитарное управление фронта, и никто не знал, куда его направят. Александр Александрович едет в Москву и просит Ефима Ивановича Смирнова отправить его на другой фронт, но все безуспешно — снова Ярославль, и снова ожидание.

*«14 февраля. Утром был в клинике. День провел с Сашкой, ему уже необходимо мужское общество. Вечером был в одном доме, где познакомился с писателем Всеволодом Вишневским. Мне очень понравилось, как он рассказывал о героях-матросах, защищавших Ленинград. Так и пахнуло от него «ветрами Балтики». Все заметили возникшую между нами взаимную симпатию, объяснив ее почему-то одинаковой фамилией: и он и я Вишневские. Но ведь мы даже не родственники».*

Эту дружбу с Всеволодом Вишневским Александр Александрович хранил до самой смерти писателя.

15 февраля Вишневский выехал обратно в Ярославль, и снова неизвестность, пока наконец не пришел приказ из Москвы отправляться из Ярославля засекреченным выездом, и никто даже уже в поезде не знал, куда: на восток или на запад? А пока наша армия гнала фашистские войска на запад, готовился новый фронт на востоке.

И вот Александра Александровича направляют во Владивосток.

Работа на Дальнем Востоке после горячих лет на передовых Волховского и Ленинградского фронтов мало удовлетворяет Вишневского.

*«7 мая... Первый день войны застал меня на пути из Батума в Сухум главным хирургом Закавказского фронта, а последний встречаю на Дальнем Востоке главным хирургом Приморской группы войск. Пополнения все прибывают. Говорят, что эшелоны идут через каждые 30 минут. Конец войны здесь ощущается*

*совсем не так, как мы этого ждали, когда воевали под Киевом, Орлом, Брянском, Ленинградом, под Новгородом, на Свири, в Киркинесе. Очень уж мы далеки от мест, где завершаются эти события».*

*А вот запись от 13 мая.*

*«Погода отвратительная. Вечером слушал японскую передачу на русском языке. Токио сообщил, что 9 мая в связи с капитуляцией Германии собрался кабинет министров Японии. Обсуждался вопрос о ходе войны с союзниками, и принято решение продолжить войну «до полного разгрома Америки и Англии». Подумать только, как же жалеют своих людей!»*

*Читаешь эту запись и думаешь, как еще далеко был Александр Александрович от настоящего мира и отдыха, в то время когда мы все ликовали и праздновали первые мирные дни! А Вишневский в это время оперировал девочку. Она играла с братом на окраине города в бывшей корейской школе, и вдруг произошел взрыв, брат был убит, а у девочки оказалось 13 ран в кишечнике.*

*«17 мая. У девочки пневмония. Со стороны брюшной полости все как будто бы в порядке. Расследование несчастных случаев показало, что взрыв произошел потому, что дети играли головками зенитных снарядов, брошенных там стоявшими зимой частями.*

*Очень скучаю по Машеньке и Саше. Война кончилась, а папа все не едет, и им ведь даже не объяснишь, в чем тут дело».*

*А 18 мая он записывает: «...Слушали радио. В Берлине среди немецкого населения голод. Для организации продовольственного снабжения туда экстренно выезжает Микоян... Ныне лозунг «Убей немца!» заменяется лозунгом «Накорми немца!» — такова наша советская правда».*

*Три месяца Александр Александрович работает на Дальневосточном фронте, причем здесь ему приходится*

сталкиваться с сугубо местными заболеваниями — такими, как бери-бери. Наблюдая за больными, он применяет новокаиновую блокаду и с удовлетворением обнаруживает благотворное действие блокады на эту странную болезнь, типичную для мест, где употребляют много рушеного риса. Отсутствие витаминов, содержащихся именно в рисовой кожуре, доводит людей до авитаминоза, следствием которого является паралич. Александр Александрович блокадами снимал у больных отечность и возвращал парализованным способность двигать конечностями. Еще одна победа!

В первых числах сентября начался разгром японской Квантунской армии нашими дальневосточными частями. Разгром, закончившийся полной капитуляцией Японии. С этого момента надо считать военную часть дневника Вишневого законченной. Но Александр Александрович еще целый год находился на службе. И только в феврале 1946 года была сделана последняя запись:

*«12 февраля... Сегодня меня принял Е. И. Смирнов и сказал, что после небольшого отдыха мне предстоит командировка в Берлин. И тем не менее на этом я свой дневник заканчиваю...»*

Заканчиваю и я эту главу.

## Сердце

Мы сидим с бывшей ассистенткой Александра Александровича, ученицей его отца Анной Марковной Кудрявцевой у меня на даче и беседуем об операциях на сердце. Она сейчас пенсионерка, всю свою молодость и жизнь посвятившая хирургии, в частности, операциям на сердце «синих» детей. Операциям, начало которым дал Александр Александрович.

— Мне в жизни приходилось часто делать эти операции, когда я работала в отделении синюшных детей, — рассказывает Анна Марковна.

Я слушаю ее и думаю о том, что ведь мы, люди, не имеющие отношения к медицине, даже представить себе не можем, сколько детей родятся с сердечной недостаточностью и как мало думают будущие матери о судьбах, которые они сами готовят своим детям.

Анна Марковна рассказывает скупо и точно, и я вдруг отчетливо вспоминаю ее в детском отделении клиники на Большой Серпуховской, окруженную детьми. Была она тогда удивительно грациозной, стройной, с густыми белокурыми волосами, заколотыми на затылке в большой узел, и с серыми — то насмешливыми, то строгими — глазами.

Она необычайно умело вела себя с маленькими пациентами — была с ними терпелива и мягка.

— Мы готовились к операции задолго, — рассказывает Анна Марковна, — ежедневно держали ребенка в кислородной палатке, ведь синюшные дети задыхаются при быстрых движениях. Им нужны ингаляции, нужны укрепляющие сердечную деятельность медикаменты. Они, как и все дети, хотят побегать, поиграть, и вот они в своих полосатых пижамках носятся по коридорам, играют, ссорятся,

мирятся, смеются, кричат... Родители с беспокойными лицами, истерзанные ожиданием, сидят возле них, сами готовые отдать жизнь за спасение ребенка.

Но есть страшные случаи — когда мать не хочет возиться с ребенком, больше того, не хочет, чтобы он выжил: он все равно уже будет неполноценным, вот и возись с ним потом всю жизнь!

У меня на руках умирал после операции такой трехлетний малыш. Какое же это страдание! Он просится на руки к матери, а мать не идет. Я старалась как-то отвлечь его, приласкать, взяв на руки. А мать ведь так и не пришла в больницу. Ни разу!

Я прошу Анну Марковну рассказать поподробнее об операциях на сердце синюшных детей.

— Видите ли, — рассказывает она, — есть ведь так называемые «белые пороки», это — дефекты перегородок сердца, и они сравнительно легко устраняются, гораздо сложнее «синие пороки» — с серьезными дефектами. Ну, представьте себе, что у ребенка от рождения смещены аорта и легочная артерия, и от этого кровообращение идет в обратном порядке: там, где обычно проходит артериальная кровь, идет венозная, и наоборот. Надо отключить аорту, отключить легочную артерию и пересадить эти органы, подшив их на положенные для них места. Для этого хирург вскрывает грудную клетку. И хирурги делают это с каждым годом все лучше, ведь техника растет, и то, что было десять лет тому назад, — теперь уже устарело. Раньше хирург оперировал функционирующее сердце, отключая его на короткое мгновение. Сейчас аппараты искусственного кровообращения дают возможность хирургу спокойно во всем разобраться и как следует, тщательнейшим образом устранить порок.

Я не могу скрыть своего восхищения. А Анна Марковна продолжает:

— Сейчас операция начинается с того, что мы вводим наркоз больному ребенку прямо в палате, он даже не знает, что через полчаса он будет на операционном столе. Его принесут туда, вынув из холодной ванны, охлажденного до тридцатиградусной температуры. Потом вводится в трахею через горло трубка для поддержания дыхательного наркоза, а потом начинается самое главное: рассекается грудная кость, раздвигается грудная клетка, и вот оно, сердце! Лежит в рассеченном перикарде это маленькое сердечко, которое будет отключено от кровеносной системы, вскрыто, переделано, приведено в порядок, подшито и уложено на место. Затем грудная клетка зашивается, к сердцу подводят ток, отключив аппарат искусственного кровообращения. А дальше — теплая ванна для пациента и палата, и непрерывное, неустанное внимание, и ожидание, тревога в глазах измученных родителей, тревога у маленьких соседей, тревога у медперсонала. Тревога, тревога, тревога! И ожидание. И свое-то сердце здесь столько перестрадает...

Я вспоминаю, — снова говорит Анна Марковна, — как однажды мы с Александром Александровичем оперировали маленькую девочку. Она была такая трогательная. Мы сделали все возможное, что только было в наших силах, но она все же умерла во время операции. Ничего нельзя было сделать. И мы оба стояли над ней и плакали, словно потеряли какое-то близкое нам, родное существо...

— А как вообще вы пришли к этой специализации — к операциям на сердце?

— Ну, это началось давно. Еще в 1952 году мы ездили в клинику второго мединститута, к профессору Бакулеву, посмотреть операции на сердце, когда это еще были первые шаги в этой области. Мы знакомимся с новыми методами операций. Работал с нами ассистент Бакулева, опытный и талантливый хирург Мешалкин. Он

делился с нами своими методами, приезжал к нам в институт на операции «синих» больных. Заезжал вечерами, чтобы самым тщательным образом проследить за послеоперационным периодом. И не только из чувства ответственности — он вел научные наблюдения.

Много экспериментов проводилось у нас и с животными, для этого имелся целый так называемый «звериный корпус», где содержались собаки, крысы и другие животные.

Я благодарю Анну Марковну за ее рассказ и прощаюсь с ней.

И еще интервью.

О первой пересадке человеческого сердца, сделанной в Советском Союзе именно Александром Александровичем Вишневским, рассказал мне хирург Арнольд Николаевич Кайдаш. И вот что я узнала от него.

Еще в 1968 году Вишневский после длительной тренировки на трупах впервые начал эксперимент по пересадке сердца у животных. Это были операции с подшиванием сердца и различными вариантами подключения дополнительного кровообращения. Знаменательно, что знаменитый хирург из Кейптауна — Христиан Бернар, осуществивший первую пересадку сердца человеку, перед этой операцией приезжал в Советский Союз и наблюдал, как наши врачи-экспериментаторы делают эту операцию на животных.

Операция пересадки сердца требует совершенно исключительной стерильности, то есть целых стерильных блоков, палат, и соответствующего оборудования, которого в старом здании Института имени А. В. Вишневского не было, а новое здание было еще не закончено. И тогда Александр Александрович — главный хирург Министерства обороны — задался целью произвести операцию пересадки сердца в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в



Ленинграде. Руководство академии поддержало предложение Вишневого. Была проведена подготовка стерильных помещений и оборудования в отличном корпусе госпитально-хирургической клиники, где для пересадки сердца был отведен целый этаж. Была оборудована специальная операционная и пластмассовая палатка — там должен был находиться больной после пересадки. Была подготовлена новейшая аппаратура и создана группа хирургов-иммунологов и специалистов по искусственному кровообращению.

В таком громадном городе, как Ленинград, больных, перенесших инфаркт, было множество, и многие из них соглашались на пересадку сердца как на последнюю надежду на продление жизни. Так что в реципиентах недостатка не было.

Больных, ждавших пересадки сердца, было много, и нередко они умирали, не дождавшись операции, поскольку большинство из них были хронические сердечники, уже перенесшие по два, по три инфаркта миокарда, с декомпенсацией, с отеками легких. По существу, жизнь их держалась буквально на кончике иглы при инъекциях различных сильнодействующих препаратов, помогающих сердечной деятельности. В бригаде, обслуживающей этих больных, было установлено круглосуточное дежурство, и каждый из членов этой бригады не имел права отлучаться по своим делам больше чем на полчаса, и так было в течение двух месяцев.

Вопрос о донорах оказался чрезвычайно сложным. Их доставляли в одну и ту же клинику в отделение реанимации, ни в какой мере не связанное с бригадой, занимающейся трансплантацией сердца. Доноры часто имели повреждения многих жизненно важных органов, и хирурги в этих случаях не решались производить трансплантацию.

Надо было еще подобрать по иммунным пробам совместимость тканей донора с тканями реципиента и при этом учесть самые мельчайшие детали.

Три профессора-хирурга должны были работать вместе с Вишневым: Иван Семенович Колесников, Феликс Владимирович Баллюзек и Владимир Федорович Портной. Кроме того, им должны были помогать многие сотрудники Института имени А. В. Вишневого и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

И вот в ночь на третье ноября в клинику позвонили и сообщили, что зафиксирован случай неоперабельной травмы, приведшей к мозговой смерти потерпевшего. Теперь надо выяснить, подойдет ли его сердце для пересадки. Сможет ли оно работать в другом организме? Измеряется и подсчитывается, сколько крови выбрасывает мышца с каждым ударом.

Сердце донора срочно доставляют в операционную, где на столе, уже подготовленная к операции, лежит пожилая женщина с сердцем, отжившим раньше времени. И вот Вишневский со своими соратниками — Колесниковым, Баллюзек и Портным — переходят в операционную и приступают к пересадке сердца...

Можно представить, каким мужеством, хладнокровием и опытом должен был обладать Александр Александрович, когда он отделял своим скальпелем старое сердце от сосудов... Я вижу это напряженное лицо под марлевой маской, лицо с немигающими глазами неистового напряжения, когда руки этого необыкновенно талантливого хирурга извлекают из ванночки молодое сердце вместе с трубками, дающими ему жизнь, помещают его в перикард пожилой женщины и начинают тончайшую работу иглой, соединяя, скрепляя, подшивая сосуды...

И вот они уже соединены, все готово, чтобы снять зажимы, и тогда в сердце должна поступать кровь оперируемой...

Пожалуй, никакими словами не опишешь, что переживают в эту минуту хирурги, взявшие на себя ответственность заново создать функциональную деятельность человеческого сердца, вступая в эту минуту в соревнование с самой природой. Надо обладать такими нервами, таким здоровьем и таким могучим собственным сердцем, чтобы дождаться первого... второго... третьего толчка нового сердца! И вот оно работает! Работает новое сердце! Победа!..

Но через полчаса обнаруживается, что правый желудочек нового сердца не справляется с нагрузкой из-за больших изменений в легких реципиента, и вот тридцать два часа подряд хирурги отчаянно борются за жизнь больной, но... на тридцать третьем часу сердце остановилось, успев послужить только великому опыту современной науки.

Все же приоритет подобных операций в нашей стране остался за Александром Александровичем Вишневым, и впоследствии он был приглашен сделать доклад о трансплантации сердца в Московском хирургическом обществе.

Доклад этот был блестящим. Причем Александр Александрович не столько докладывал, сколько горячо делился с коллегами своим опытом, не умалчивая о недостатках и недосмотрах и постоянно обращаясь к аудитории: «Если вы будете делать эту операцию, то обратите внимание...» Это диктовалось большим чувством долга перед больными и щедрой готовностью передать опыт коллегам. И столько было в этом выступлении убедительности и полной отдачи, что оно несомненно сыграло большую роль в развитии методики трансплантации сердца. Ныне сделано больше ста пересадок сердца, не говоря уже о трансплантациях почек, легких, печени. Экспериментальная хирургия сильно движется вперед, но, как утверждает Александр Александрович в статье «Клятва Гиппократова», которую

он писал в соавторстве с профессором Портным, — «повидимому, право на клинический эксперимент могут иметь только врачи высшей квалификации, вся предшествующая деятельность которых оправдывает доверие больных и коллег».

Такой квалификацией и обладал сам Вишневский.

«Клятва Гиппократата». Все мы знаем, что дают ее студенты, будущие медики:

«Я направляю режим больных к их выгоде...»

«...Воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости».

«No posere — не вреди»...

Сколько же противоречий несут новейшие методы лечения!

Сколько еще неисследованного и неизвестного?..

В антибиотиках, в атмосфере, в синтетике?..

И так, видимо, было из века в век. Каждое новое открытие вызывало уйму противостояний, не говоря уже о моральной ответственности.

Как и всякого человека, далеко стоящего от медицины, меня все время тревожил вопрос о том, где начинается и где кончается моральная ответственность врача при пересадке сердца?

Слово «сердце» вмещает в себя множество разных понятий — как черт человеческого характера, так и централизованной силы — и в «физиологическом», так сказать, смысле, и в философском. И сколько разных значений: «сердце поэта», «сердце Родины», «сердце матери»!.. И вдруг — «сердце донора». Но для того чтобы получить его, нужно ждать, чтобы с кем-то случилось величайшее несчастье, катастрофа.

Значит, тут человек должен переключить свое гуманное мышление на жесткую, холодную волю человека-автомата?

В автомате сносились деталь, нужно ее заменить свежей!..

Когда я однажды завела об этом разговор, с Александром Александровичем, он выслушал меня и потом, поморщившись, сказал:

— Слушай, наука — вещь жестокая, всякая наука. Здесь приходится, особенно в хирургии, подчас и свой разум, и свои чувства подчинять необходимости и вкладывать их в профессиональное мастерство, в технику. А жертвы... Жертву приносить приходится всем — и донорам, и реципиентам, и медикам. Мало ли врачей, которые ради науки избирали себя самих в качестве подопытных экспонатов? Сколько было случаев, когда во время страшных эпидемий врачи пробовали вакцины на себе. И кто-то выживал, а кто-то становился жертвой науки, как профессор Берлин, прививший себе вакцину чумы и скончавшийся от чумы...

Так сказал мне Александр Александрович Вишневский, и, признаться, мне нечего было возразить.

# Что помнят друзья

## *Фрагмент второй*

Николай Петрович Харитонов. Смотрю на него, и кажется мне, что как раз под него гримируют персонажей из кинофильмов, если надо показать тип «коммуниста двадцатого года», хотя возрастом он много моложе. Но в русском лице с благородными чертами, с классической линией носа и мягкой щеточкой усов на верхней губе, над привычной сдержанностью главенствует достоинство.

Такие лица видишь на фотографиях рабочих и студентов, борцов за революцию, в музеях русских городов. Там эти лица — самые разные, но все они хранят одно, роднящее их выражение непоколебимой внутренней силы. Вот такое лицо, у Николая Петровича, офицера запаса, ныне пенсионера. Он худощав, строен, еще совсем не стар, с лукавой усмешкой и умным спокойным взглядом карих глаз.

Вот он сидит передо мной, затягиваясь сигаретой, и рассказывает неторопливо:

— С Александром Александровичем я познакомился по поводу операции на лице, которую он мне сделал сам. Случай был как будто пустяковый: возвращаясь из Средней Азии, я побрился в какой-то привокзальной парикмахерской, и вдруг «прикинулась» к губе болячка, которая начала перерастать в опухоль.

Операция была несложная, но лечиться пришлось долго. И вот тут-то мы и подружились с Александром Александровичем. Меня к нему, к этому доброжелательному, общительному, остроумному

человеку, так всегда тянуло, что, уже совсем поправившись, мы продолжали видеться. Ему, наверное, тоже было со мной небезынтересно, поскольку мы с ним подружились надолго: до конца его жизни. За тридцать с лишним лет я изучил его и полюбил как очень близкого, родного мне человека. А человек он был редкой самобытности, и меня всегда поражала его постоянная, неизбывная одержимость своей работой.

Все, за что он брался, становилось для него делом первой важности, он не мог оставаться умеренным, не говоря уже о равнодушии. И, понятно, в некоторых людях это вызывало раздражение и неприязнь. Так, многие из его коллег не могли простить ему его постоянного стремления к новаторству, к научному экспериментаторству, считая его карьеристом и честолюбцем. А по существу, он вечно боролся за свою великую, я не преувеличиваю, именно — «великую идею» всесильности хирургии в продлении человеческой жизни, особенно когда медицина пришла к применению трансплантации органов.

При всей горячности его крутого характера основой в нем была организованность. А целеустремленность помогала ему добиваться желаемого.

Так, в 1948 году после смерти отца — Александра Васильевича, которого он боготворил, он задался целью подготовить к печати все его труды и около четырех лет систематически и упорно работал над статьями и лекциями отца, отбирая материалы, редактируя. В 1952 году было опубликовано это издание, которое и поныне служит молодым хирургам серьезным подспорьем. И все это наряду с огромной ежедневной работой Александра Александровича в операционной клинике на Большой Серпуховской. Он оперировал даже в выходные дни, уж не говоря о постоянном посещении своих больных даже в ночное время. Нередко ночью он срывался с постели, вызывал дежурного шофера и мчался по пустынным

улицам в клинику: приглядеть, проверить, самому пощупать пульс у оперированного и, удостоверившись, что все в порядке, вернуться домой — досыпать.

Уставал ли он? Уставал, конечно, но не духом! Пользуясь правами близкого друга, я часто заходил к нему в кабинет и заставлял его сидящим на диване после сложной операции. Он сидел молча, недвижно смотрел в одну точку, словно сосредоточившись на расслаблении всех мышц, а мысленно проверял все детали проделанной работы. Я не тревожил его и, сидя в сторонке, ждал, пока он выйдет из оцепенения. Он приходил в себя внезапно, тут же начинал быстро ходить по кабинету, о чем-то расспрашивая, что-то рассказывая, потом останавливался передо мной, снимал запотевшие очки и протирал их, радуясь удаче на утренней операции или сокрушаясь нерасторопностью ассистентов. И мне казалось, что он выкладывал весь запас энергии, оставшийся в нем после пятичасового напряженного стояния у операционного стола.

— Ты подумай, — говорил он, — ведь не бывает двух одинаковых больных! И все же мы часто слишком надеемся на прошлые опыты и в результате наталкиваемся на неожиданности. Значит, что же это?.. Значит, надо глубже и серьезнее относиться к диагностике и всегда, всегда, — акцентировал Александр Александрович, — быть готовым к неспецифической картине болезни. — И тут вдруг, усевшись на стул напротив меня, восклицал с просветлевшим лицом: — А какой больной! Герой!.. Какая дисциплина у него! Какая терпеливость и вера, вера в нас, хирургов! Да при такой вере и сам-то начинаешь верить в свои сверхвозможности! И хочется быть достойным его веры в тебя!..

Помню, однажды Александр Александрович сделал операцию на открытом сердце женщине лет тридцати,



которой надо было извлечь два осколка гранаты, оставшиеся у нее после ранения на фронте. Александр Александрович взялся провести операцию и пригласил меня посмотреть на этот исключительный случай. В те времена в операционных еще существовали амфитеатры для врачей-курсантов ЦИУ, и я уселся там. То, что я увидел, было чрезвычайно интересно. Не буду описывать, как вскрывалась грудная клетка и как руки Александра Александровича прощупывали живое сердце, меня поразило то, что он, оперируя, разговаривал с больной.

— А ты чувствуешь, что именно я вытаскиваю из твоего сердца? — спрашивал он у женщины, и она что-то невнятно отвечала. А вытаскивал он из тканей сердца одну за другой металлические пластинки шириной в полсантиметра.

На меня эта безумная отвага вторжения в человеческое сердце произвела такое сильное впечатление, что я долго не мог опомниться. И потому, когда после операции Александр Александрович предложил, мне пойти домой пешком, я охотно согласился. Мы зашагали от Серпуховской, через всю Москву к дому на Новослободской, где тогда была квартира Вишневских.

Мы шли не спеша и о многом говорили. Но отчетливо запомнилась мне тема, постоянно тревожившая Александра Александровича, — о содружестве медиков с химиками, которые могли помочь медикам в трансплантации органов, а именно — в решении проблемы совместимости тканей.

— Нашу технику при пересадке органов мы уже научились шлифовать на животных — на лягушках, кроликах, собаках, но все это, конечно, кустарщина. Необходимо создать большой исследовательский институт трансплантаций. Кроме того, хирургам необходима виртуозность в операционной технике, а

для этого не хватает хороших инструментов... Правда, при нашем институте уже имеется мастерская, в которой удастся изготовить кое-что из инструментов, но и это тоже кустарщина. А ведь это стыдно, стыдно!.. — горячился Вишневский.

Впоследствии при активном участии Александра Александровича у нас в стране был создан научно-исследовательский институт медицинского оборудования. Ведь Александр Александрович был самым ярым поборником применения новейших механических средств в хирургии. Я помню, с каким энтузиазмом он принял появление телевидения:

— Ты представляешь себе, какие возможности открывает телевидение для врачей? — восклицал он. — Ведь теперь в самом отдаленном уголке страны хирург, оперируя больного, может консультироваться с крупными специалистами больших городов. Какую же уверенность это может придать хирургу, с одной стороны, и какую ответственность налагает на него — с другой! Ведь это создает эффект присутствия крупных специалистов при операции. И наоборот! Любой рядовой хирург может наблюдать операцию, которую производит крупнейший хирург. Вот ведь какие дела.

И ЭВМ в институте Вишневских была, конечно, достижением Александра Александровича. Он говорил:

— Машина имеет свойство приводить к неожиданным выводам. Привычное для врача машина часто видит нешаблонным, и это заставляет человека приходить к парадоксальным выводам. Она способна находиться в непрерывном состоянии напряжения, что для человека абсолютно недоступно. А бесконечная память машины может сохранить человеку уйму времени. И вообще машина может облегчить работу прямым общением через телефон и телетайп.

И еще об одном качестве Вишневского хотелось бы мне сказать: Вишневский был настоящим коммунистом,

преданным делу партии человеком, постоянно проверявшим свое общественное сознание и свои возможности. Причем это не было поскольку постольку, это было его личное отношение к партийным и общественным делам, это была часть его жизни.

Как депутат Верховного Совета РСФСР он занимался своими депутатскими делами с той же целеустремленностью, с какой выслушивал больного или оценивал качество инструментов перед операцией.

Он аккуратнейшим образом отвечал на письма своих избирателей, был в курсе всех проблем здравоохранения, не боялся резко критиковать руководство за те или иные просчеты, но и не преуменьшал успехов научных и партийных руководителей, даже если это не были работники, близкие ему по духу. Принципиальность была одной из главных черт его характера.

Николай Петрович замолкает, затем закуривает сигарету, усаживается поудобнее и продолжает свой рассказ:

— Александр Александрович считал, что наблюдение и лечение болезни нельзя отрывать от законов диалектики, во взаимодействии с которыми и распознается ход болезни. И в профессии врача необходимо применять диалектическое мышление.

— Ты помнишь, — говорил он мне, — как Фейербах, хоть он и был метафизиком, точно определил в своих спорах медиков с философами, что медицина, и в первую очередь патология являются родиной и источником материализма.

Принципиальность и демократичность в общении с людьми всегда сказывались в отношениях Вишневского с медперсоналом. Его любили — в институте. Любили и уважали, несмотря на его взыскательность, может быть, потому, что он был таким же взыскательным к самому себе. С коллегами, медсестрами, нянями и уборщицами

он вел себя как с равными. Он заботился о них, вникал в их нужды и говорил с ними как с близкими ему людьми. Благодаря его доброжелательности рядом с ним было легко работать, хотя он часто был вспыльчив и не стеснялся в пылу работы бросить крепкое словцо. Но коллеги не обижались на него — он был отходчив, да к тому же грубость никогда не была чертой его характера, и все это прекрасно знали.

Театр? Да, Александр Александрович любил театр, может быть, потому, что часто общался со многими замечательными актерами и актрисами, ведь они у него лечились, и, конечно, каждый из них хотел показать ему свое искусство, будь то певец, или драматический актер, или балерина. Он дружил и с писателями, с драматургами.

Мы с Александром Александровичем довольно часто бывали в театре, и, надо сказать, давал он на редкость точные оценки и драматургии, и режиссуре, и актерскому исполнению.

Спорт Александр Александрович любил до самозабвения. Бывал на соревнованиях по футболу, хоккею, теннису. Как он восхищался красотой, свободой и точностью движений спортсменов! Как радовался благородным поступкам в соперничестве и как сокрушался и даже оскорблялся, если спортсмен ловчил или грубил.

Он говорил:

— Знаешь, по-моему, главными качествами спортсмена должны быть высокая честность и уважение к партнеру. Нельзя, допускать никаких неблагоприятных поступков... И вообще спорт нужен нам, медикам, как воздух, потому что спорт — это не только физическое развитие, но и моральное, это укрепление силы воли и духа. Ведь на операциях приходится сталкиваться с такими эмоциональными всплесками и такими

неожиданными явлениями, что медикам просто необходимо постоянное присутствие духа.

Так говорил он, и это не было голословно — сам он увлекался теннисом, настойчиво тренировался у лучших теннисистов Москвы. Интересно, что с первой своей супругой Варварой Аркадьевной он познакомился в 1930 году в Военно-медицинской академии в Ленинграде, там она, будучи «первой ракеткой» Ленинграда, тренировала студентов...

А еще Александр Александрович любил охоту. Причем я наблюдал довольно любопытные особенности Александра Александровича: в нем уживались две совершенно противоположные страсти. С одной стороны, он был отличным стрелком и точно сбивал птицу влет, а с другой стороны, он обожал природу, изучал жизнь птиц и зверей и восхищался их красотой. Во время охоты на вальдшнепов он подолгу любовался утренними зорями, красотой весеннего леса, зачарованно ждал восхода солнца...

Бывало, сидим с ним в шалаше на тетеревином току и наблюдаем, как тетерева, распушив хвосты, подпрыгивают, танцуют, бормоча свои свадебные песни, а тетерки сидят на ветках больших деревьев и смотрят сверху на этот концерт. Александр Александрович сразу забывал, для чего пришел сюда, и, с восхищением наблюдая за женихами, вдруг заявлял: «Нет! Не могу!.. Не буду стрелять, уж очень они хороши. Стреляй, если хочешь, но только один раз. Одного тетерева нам хватит на двоих».

И конечно, все охотничье настроение у меня пропадало.

Однажды Александр Александрович рассказал, как он горевал, когда ему пришлось стрелять в лося.

— Ты представляешь, до чего ж мне не повезло! Красавец лось вышел прямо на меня. Ну что делать? Пришлось стрелять. Так веришь ли, стрелял, а сам

обливался слезами. А не стрелять нельзя — я ведь не один: со мной целая компания охотников. Стою на номере, будь он проклят, этот номер! Исстрадался я, глядя на этого красавца. И вот... убил...

Помню, в кабинете Александра Александровича в институте на окнах цвели коллекции редчайших кактусов, а в приемной распевали несколько кенарей.

Да, Александр Александрович был личностью огромного диапазона. За долгие годы нашей дружбы я много раз убеждался, что если б он не был хирургом, то при своей многогранности, одаренности и культуре он во многих других профессиях достиг бы высокого уровня.

Творческое вдохновение не покидало его до конца дней. Он считал, что человек должен оставить своим потомкам что-то ценное, какой-то добрый след на земле, ну хоть дерево посадить, если не можешь ничего изобрести.

## След на земле

Оставить след. Наследие. Александр Александрович всегда очень серьезно относился к вопросам генетики. Хотя мне он однажды сказал, что хирургами не рождаются — к этой профессии идут дорогой упорного труда. И при всех природных данных ни одна из профессий — будь то врач или гимнаст, пианист или танцовщик... — без упорного, методического труда не может состояться. И постоянная, ежедневная работа — практика хирурга, как смычок для скрипки, как станок для балерины и как резец для скульптора.

Итак, хирургия — это исполнительское искусство плюс глубокие, серьезные научные знания и культура применения этих знаний. Она передается по наследству, и здесь наследники не только дети, а и последователи, ученики-энтузиасты. Они-то и идут «по следам» отцов и учителей, находят новые пути-дороги, ведут за собой новые поколения и оставляют новые следы. След на земле! Это же счастье — уметь оставить добрые следы!

Я хочу вспомнить об одной из важных черт характера Александра Александровича: о некой его «мембране», всегда улавливающей самые тонкие волны творческой атмосферы.

Это было на даче, на Николиной горе. Возвращаясь из Москвы и проезжая мимо наших ворот, Александр Александрович часто останавливал машину и быстрыми, легкими шагами направлялся к дому.

Я увидела его со второго этажа через балясины моего балкона.

— Эй, есть кто живой? — крикнул он своим высоким голосом.

— Давай сюда, Шура, ко мне наверх, — ответила я, не поднимаясь от рабочего стола, за которым с утра

сидела над главой для книги о своем дедушке — художнике Сурикове.

Он вошел в мою низенькую просторную комнату и сразу уселся в кресло возле стола.

— Ну что? Творишь?

— Творю.

— Сколько страниц сегодня натворила?

— Да вот кончаю главу о «Венере» Тициана, перед которой дедушка всегда подолгу простаивал в Эрмитаже.

— А поди, трудно писать о художниках? Это же «в цвете» надо писать.

— Вот я и пытаюсь. Хочу, чтоб читатель в своем воображении увидел картину в цвете, даже без иллюстрации. Я же не искусствовед, и у меня должен быть особый путь к обозрению творчества Василия Ивановича.

— Ты же встречаешься с теми, кто знает живопись или даже знал твоего деда?

— К сожалению, Шура, все, кто знал его, уже умерли. Я самая старшая из тех, кто знал его в раннем детстве. Те мои ровесники, что бывали у нас, очень смутно помнят его. А те, кто даже писал о нем, никогда его вообще не видели, не общались с ним. Я и мой брат Миша — последние из живущих, кто общался с ним в семье и кого он любил и берег. Мне ведь было тринадцать лет, когда он умер, и я хорошо помню его. Помню запах его черного пиджака, сшитого у лучшего портного Деллоса, в кармане были сухие ягоды черемухи и смородины, которые ему присылали из Сибири. Помню ощущение под моими руками морщинистой кожи на его шее, и запах его густых седых волос. Помню прикосновение его небольших теплых ладоней. Помню, как он говорил, речь его и манеру произносить слова, и его смех, почти беззвучный,



сотрясающий его плечи. Смех до слез. Помню даже запах яичного мыла на умывальнике в его квартире...

И вот, пока я помню все это, я могу не придумывать, а воссоздавать, вызывать его образ из далей времени.

— Ну а всю «живописную» сторону его жизни? Ты же не была свидетельницей его творческого расцвета. Как же ты находишь все эти детали?

— А это я беру из его писем, очень многочисленных и очень обстоятельных. Из статей о нем его современников-искусствоведов. Из рассказов и воспоминании моих покойных родителей и тетки Елены — младшей дочери Василия Ивановича, от которой многое узнала еще при ее жизни. Вот так по следам, наиболее четким, и находишь путь к любимому, обожаемому образу, иногда просто живущему где-то внутри твоей собственной жизни.

— Да-а-а, — задумчиво тянет Александр Александрович. — Это самому надо уметь увидеть, а потом еще уметь и рассказать... А как ты назовешь эту книгу? «Суриков»?

— Нет, это название уже слишком много раз было использовано и в статьях, и в монографиях, и даже в Художественной литературе. Надо придумать что-то другое, совсем новое...

Александр Александрович сидит в кресле возле стола. Он нынче в гражданском — в светлом летнем костюме и белых туфлях, — видно, собрался идти на теннис. На лице его выражение любопытства. Раскрыв ладони, он соединил пальцы и думает о чем-то. Я смотрю на его руки: левая, словно со следами ожогов на тыльной стороне, кожа на ней чуть темнее, словно сожженная ипритом. Он не любит, когда обращают внимание на эти пятна. Но сейчас он занят своими мыслями, и я свободно разглядываю эти дорогие для меня руки.

Вдруг он быстро сплетает пальцы и складывает их на коленях.

«Правый большой палец сверху!» — думаю я, вспоминая старинную примету, бытовавшую среди гимназисток: правый палец поверх левого, значит, разум торжествует над сердцем. А левый палец сверху — значит, сердце над разумом. У Вишневого, стало быть, — разум над чувством.

Александр Александрович поворачивает ко мне свое холеное, гладковыбритое лицо и, чуть усмехнувшись, говорит:

— Может, считаешь мне, что сегодня записала?

Ага! Я только этого и ждала и ликую, потому что я из тех, кто постоянно рвется к общению с читателем и в нем-то находит для себя пользу и силу.

— Ну что же, — говорю я, словно нехотя, — если тебе интересно, так изволь, почитаю. Итак, все это происходит в Петербурге. Двадцатипятилетний дед мой учится в Академии художеств. Живет на Васильевском, на Третьей линии. И вот в одно из ноябрьских воскресений ему вдруг страстно захотелось побежать в Эрмитаж, чтобы увидеть еще раз «Венеру перед зеркалом» Тициана.

Он прибежал почти к закрытию, смотритель не хотел его впускать, но, уже давно приметив молодого студента, смилостивился и впустил: «Ну идите... Да скоренько — уже господа все выходят». Василий Иванович, не раздеваясь, едином духом взлетел по лестнице и оказался в большом зале с верхним светом, где тогда были выставлены картины знаменитых художников итальянского Возрождения. Вот сейчас я прочту тебе, Шура, кусок, где он останавливается перед «Венерой» Тициана. Моя задача описать «Венеру» так, чтобы читатель стал на это мгновение зрителем. Вот слушай:

«Он знал наизусть каждый мазок, каждую деталь этой картины. Венера в свете умирающего дня, падающего сверху, как бы уходила в глубь картины. Мальчишка — купидон — держал перед ней зеркало в тяжелой черной раме. Он напряг толстенькие ножки и уперся ступнями в полосатое покрывало кровати. В зеркале отражалась часть лица прекрасной обнаженной женщины, отраженный зеркалом глаз был похож на огненный глаз дикой лошади. Вишневый бархат с меховой опушкой, в который завернулась красавица, уже почти погас в надвигающихся сумерках, по обнаженное тело светилось на темном фоне, и матовым блеском переливалась жемчужная серьга в ухе женщины. Дивной красоты рука Венеры с длинными пальцами женственно прикрывала грудь, и тускло поблескивали, обвивая запястье, золотые венецианские бусы...

Суриков застыл перед этим чудом живописного мастерства.

«Вот она, лучшая картина Тициана! Венера. Она, конечно, гораздо сильнее и глубже, чем Лавиния... Какой рисунок! Хоть его и не видно в контурах, а все же он чувствуется поразительно четко! Какое в ней мерцание, словно луна!..»

Суриков снял перед картиной шапку. Он, может быть, в сотый раз стоял перед ней, и каждый раз она потрясала его, как впервые.

Он стоял неподвижно, и то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения и восхищения гулко и часто билось в нем сердце.

«Бессмертие!.. Дар бесценный!» — думал он...»

— Стой! — прерывает меня Шура, вскакивая с кресла. — Довольно, не могу больше слушать. Ты так меня задела за живое, просто до слез довела!

Он, смутившись, срывает очки и быстро протирает глаза, шагая из угла в угол по моей комнате. Он

взволнован, и это отражается на его подвижном лице.

— Ну-ка прочти мне еще раз последнюю строку.

— «Бессмертие!.. Дар бесценный!..» — повторяю я.

— Так вот же! Вот тебе название! Я бы на твоём месте так и назвал всю книгу... Ведь это бесценный дар его видения, который питал его творчество! Понимаешь?.. «Дар бесценный». Так и назови!

Я сижу потрясенная. А Александр Александрович уже прощается со мной.

— Ну, я пошел!.. Спасибо, Наташка! Разволновала ты меня. — Он чмокает меня в лоб, и вот уже бежит по лестнице вниз и, пробегая через кухню, мимоходом шутит с Полей.

Я слышу его шаги на дорожке к воротам и выхожу на балкон. Смотрю ему вслед, и, словно чувствуя мой взгляд, Шура оборачивается и кричит веселым дискантом:

— Давай, давай работай! Отлично получается! А я на теннис! Кланяйся Сергею...

Калитка хлопает, и сверху я вижу мелькающий за деревьями светлый костюм Александра Александровича и слышу его стремительную походку, почти бег...

Было это двадцать лет тому назад.

Наверно, почти у всех, кому суждено прожить жизнь в постоянном движении и перемене мест и впечатлений, дом и семья — это как родная пристань для корабля.

У Александра Александровича в его жизни было четыре такие пристани. Первая в Казани — начало семейной жизни с Галей, красивой, умной девушкой, которая ушла из семьи Вишневских, узнав о своей неизлечимой в те времена болезни — туберкулезе.

И вторая пристань — прожита добрая четверть века с женой Варварой Аркадьевной, серьезной и очень сильной духом женщиной. У них двое детей — Маша и Саша, которые впоследствии тоже стали врачами.

Третью пристань после бурного плавания по мексиканским водам обосновал он в Москве на улице Алексея Толстого. Хозяйкой этой пристани стала Лидия Александровна Петропавловская. Она безвременно погибла на теннисном корте в Сухуми из-за легкомысленного отношения к коварнейшей болезни — блуждающему тромбу...

И вот еще одна пристань на улице Толстого — Нина Андреевна. Она была последние пять лет его духовной и физической опорой и оставалась ею до конца его жизни.

## **У последней пристани**

Женился Александр Александрович на Нине после смерти Лидии Александровны. Он был так перегружен всеми своими должностями, ответственностью за деятельность огромного института, организованного им, работой в операционных, а также научной работой, что ему был необходим домашний уют, который его окружал смолоду и без которого немислимо было вынести груз обязанностей, лежавший на его немолодых уже плечах.

Нину он знал еще девочкой. Она была дочерью его школьного товарища Андрея Дубяги, вместе с которым он учился в Казани. У Нины был талант математика, она закончила школу с золотой медалью. По этой линии и шло дальнейшее ее образование, она закончила Институт химического машиностроения.

Неудачное замужество помешало ей защитить диссертацию. Она развелась с мужем, оставшись с двухлетним сыном на руках...

Нина легла в институт на Серпуховке для обследования сердца. Тогда она была далека от мысли, что этот институт меньше чем через год станет для нее и храмом и домом.

Александр Александрович, видимо, угадал в ней, довольно сдержанной и молчаливой, характер с глубокой цельностью чувств, которые редко выплескиваются наружу, но проступают неожиданно, в мимолетном выражении волнения и женской мягкости в холодноватых на первый взгляд чертах лица.

Я познакомилась с ней в 1972 году, когда однажды принесла рукопись рассказа о портрете, написанном с Александра Александровича моим отцом.

В большой столовой квартиры на улице Алексея Толстого Нина сидела за чертежами, готовясь к защите

диссертации.

Нина встала мне навстречу. Высокая, худощавая, она поздоровалась сдержанно-приветливо и провела меня в спальню, где, как обычно в этот час, отдыхал после обеда Александр Александрович.

Мы занялись правкой рукописи, а Нина вернулась к своим чертежам. Через некоторое время она заглянула к нам.

— Наталья Петровна, не хотите ли чаю? Или кофе со сливками?..

Я не успела ответить, как Александр Александрович вмешался:

— Нет, ты послушай, Нина, как она написала обо мне! — И он прочел абзац из моего рассказа. — Вот видишь, какой я милый человек. А ты все бранишь меня! — шутил он.

— Да. Уж я знаю, знаю, какой ты есть! — отшучивалась Нина с серьезным лицом, но в серо-синих глазах ее была нежность...

И вот сейчас мы сидим с Ниной в этой самой столовой и беседуем об Александре Александровиче. Я слушаю и думаю, что о последних его днях вряд ли кто-нибудь расскажет лучше, чем она.

Она не изменилась со смертью мужа, разве только еще похудела и остригла волосы — раньше у нее была длинная коса — и сейчас глядит на меня глазами цвета морской воды из-под густой шапки медных волос. Я замечаю, что вязаное платье, облегающее ее стройную фигуру — точно такого же цвета, как эти несколько встревоженные глаза. Все было в этой женщине спокойно и гармонично, не было в ней ни шумного блеска, ни внешней живости, ни женской кокетливости. Я представила себе ее рядом с Александром Александровичем, полным энергии, с нравом, как закрученная спираль, и поняла, что ему для равновесия

просто необходимы были ее гармония и внешнее спокойствие при внутренней эмоциональности...

Итак, мы сидим в столовой, и я слушаю. Голос у Нины неожиданно высокий, а речь — быстрая.

— ...Он умел улавливать самое главное, самую сущность событий, — говорит она. — И я постоянно замечала это. Однажды в Ясной Поляне, читая воспоминания Сергея Львовича Толстого, он очень заинтересовался спором между отцом и сыном Толстыми. Лев Николаевич упрекал молодых ученых в том, что они разбивают науку на мелкие части, упуская самое главное — смысл жизни. Они его не знают. То есть не схватывают сущности. Александру Александровичу как раз была свойственна эта «хватка». Однажды, присутствуя на защите диссертации молодым невропатологом Гель-фондом, Александр Александрович сидел среди профессоров и казался очень рассеянным, вроде как бы даже дремал. В диссертации оказалась какая-то неточность, почти незаметная. Никто не обратил на нее внимания, и все как будто сошло. И вдруг Александр Александрович словно вышел из своего оцепенения и неожиданно живо и остро задал вопрос, обнаруживающий эту самую неточность. Профессор, председательствующий на этом заседании, был просто поражен тем, что хирург заметил тончайшую деталь в диссертации невропатолога. Конечно, Александр Александрович тут же подбодрил соискателя и похвалил его диссертацию. Он любил молодежь, ценил общение с учениками и ассистентами и верил в них...

Я прошу Нину рассказать о домашнем их быте и вот впервые узнаю, что Александр Александрович вставал всегда в один и тот же час — в восемь утра, принимал душ и, полностью одетый, в кителе, входил в кухню — завтракать. Тем временем Нина поглядывала в окно — не приехал ли за ним шофер Николай Романович. И когда она сообщала: «Здесь!» — Александр



Александрович бежал в переднюю, набрасывал шинель, на ходу прощался, приговаривая: «Не задерживай меня, там больной в операционной!» — и нетерпеливо топтался в ожидании лифта, словно действительно больной уже лежал в операционной на столе. Нина, глядя в окно, как он садится в машину, думала: «Ну конечно! Разве даст он усыпить больного, не поглядев ему в глаза перед операцией и не пощупав пульс! Как же!»

— В Александре Александровиче было много мальчишеского, — говорит Нина. — Он, например, любил играть в шахматы с моим сыном Андрюшей. И когда выигрывал, ликовал как мальчишка, хотя играл отлично и, бывало, нередко сражался с маршалом Гречко, отдыхая в Архангельском, и не стеснялся играть даже с Петросяном. Но я любила наблюдать, как он играет с моим сынишкой, надо было видеть его негодование, если Андрюша схитрит. «Не жульничать! — кричал он. — Ставь коня обратно, играть надо честно!» И в эту минуту он сам чем-то напоминал озорного мальчишку.

И Нина улыбается, вспоминая эти сцены.

— Мы очень редко вздорили, хотя вы знаете, что это был за характер. Александр Александрович мог внезапно, волнуясь за исход вчерашней операции, ни с того, ни с сего накричать, даже выругать, убегая в институт. А потом через час — звонок по телефону: «Ки-и-и-санька!.. Не сердись?..» — «Да нет! Что уж тут сердиться», — говорю я, стараясь не выдать своей радости. «Ну извини, извини! Приеду к обеду...» — И побежал на пятиминутку или в палату к тяжелому.

Когда Александр Александрович возвращался к обеду, все всегда было уже приготовлено, все было опрятно и красиво. Это давало ему ощущение полного отдыха и «домашнего комфорта», который был ему так необходим после напряженной атмосферы операционной.

Первый год после смерти Лидии Александровны с Александром Александровичем жила сестра Наталья Александровна и вела все это хозяйство. Он очень любил ее и всегда представлял так: «Вот моя единственная сестра!» Потом Наталья Александровна переехала к себе, на улицу Чайковского, и вести хозяйство стала я.

— А гости бывали у вас? — спрашиваю, заведомо зная, что Лидия Александровна постоянно устраивала приемы, но мне хочется, чтобы она сама рассказала об этом.

— Гости бывали часто. Александр Александрович не мог жить без общения с людьми. Постоянно кто-то напрашивался или сам он приглашал хоть ненадолго старого или нового друга и тогда обращался ко мне: «Ну-ка налей нам коньячку. Да принеси что-нибудь из холодильника закусить. Что у тебя там есть?»

И часто это было в такие минуты, когда он ложился отдохнуть. Я приносила в спальню на подносе угощение и оставляла их беседовать или решать какие-то дела.

Но в дни съездов хирургов или конференций у нас бывали большие приемы и для иностранных гостей. Александр Александрович изъяснялся на многих языках. Вести непринужденный разговор ему помогала природная живость ума.

Александр Александрович часто и сам выезжал в командировки. Помню, как однажды, вернувшись из Чили (там он подружился с хирургом Альенде, ценившим и любившим его), Александр Александрович рассказал забавный случай, как во время прогулки с друзьями-чилийцами он решил забраться на какую-то высокую гору, куда никто не хотел лезть из-за сильно разреженного воздуха. Александр Александрович полез один, и каково же было его изумление, когда на самом вершине горы он встретил трех каких-то старух американок. Эксцентричные особы никак не могли упустить случая забраться туда, куда ни один черт не

полезет. «Им все было надо так же, как и мне!» — смеялся Александр Александрович, рассказывая об этом эпизоде.

А как он любил привозить из своих поездок растения! Однажды привез семена кипариса, посадил их, сам за ними ухаживал и вырастил деревца. И как же горевал, когда они погибли, — в жаркое лето их забыли поливать те, кому мы их поручили, уезжая в отпуск.

Александр Александровичу постоянно привозили друзья какие-то заморские редкости. Однажды кто-то подарил ему двух детенышей-крокодильчиков. Ну конечно, дома их держать было негде, и Александр Александрович пристроил их в ванной одного из корпусов института. Он следил за ними, ежедневно навещал и кормил их, но кто-то недоглядел за ними, и крокодильчики подохли. Александр Александрович очень горевал.

Я вспоминаю, что традицию — держать в доме птиц — я переняла от Александра Александровича, когда увидела у него в проходной рядом с кабинетом множество птиц в клетках.

— Да, в институте были птицы, — говорит Нина, — а дома, здесь, у нас всегда был аквариум с рыбками. И помню, как, подняв очки на лоб, Александр Александрович склонялся над освещенным изнутри аквариумом, разглядывал своих рыб и изучал их повадки.

— Ты смотри, как они гоняются друг за другом и ведь, наверно, разговаривают на рыбьем языке, кричат что-то! Занятно!..

Кстати, эти наблюдения за золотыми рыбками не мешали ему быть страстным рыболовом. Мог часами сидеть с удочкой на берегу. Волжанин, он с детства обожал воду: лодка, удочки, гребля, дальние заплывы, голоса над рекой, все это навсегда осталось для него дорогим.

И теннис. Теннис — два раза в неделю в Москве и ежедневно в санатории на отдыхе. Тренером его был Корбут, и играл Александр Александрович превосходно...

Я вспоминаю, что когда-то здесь, в кабинете, стояло у Вишневских чучело аиста. Я тогда не успела расспросить у Лиды, что это за птица и почему она здесь. Теперь аиста в комнате не было.

— Это ведь очень грустная история, — говорит Нина. — Дело в том, что Лидия Александровна всегда ездила на охоту с Александром Александровичем. Она отлично стреляла и била птицу влет. И вот однажды, будучи на Кавказе на охоте, Лидия Александровна увидела птицу в небе, прицелилась и сбила ее одним выстрелом. Птица упала, и оказалось, что это был аист. Охотник-сван, увидев убитого аиста, страшно заволновался и сказал, что это очень плохая примета: «Нельзя стрелять в аиста. Большое несчастье будет у вас!» Тогда ни Лидия Александровна, ни Александр Александрович не придали этому никакого значения — они не были суеверными. Но ровно через год Лидия Александровна там же, на Кавказе, упала замертво на корте... После смерти Александра Александровича я этого аиста убрала отсюда, отдала в школьный уголок.

В широкие окна с десятого этажа видна вся панорама Садового кольца. Тихий весенний вечер опустился на город. Здесь, в столовой, и рядом, в кабинете, все полно духом Александра Александровича. Здесь, кажется, еще живет и трепещет его энергия, ширятся его радость и доброта, слышится его смех, бушуют его гнев или беспокойство.

И мне почему-то становится грустно и больно до слез — слишком поздно пришла я сюда со своими «поисками». Можно было прийти раньше, пока он был жив... Но вдруг пронзительная и даже жестокая мысль

пронизывает сознание — видимо, надо пройти через боль и горечь потери. Надо «выстрадать» книгу о нем, чтобы не ограничиваться биографической брошюрой. И чтобы написать эти строки, надо было отодвинуться во времени и пространстве, отойти подальше, как перед живописным полотном: чем дальше стоишь, тем больше охватываешь взглядом и умом...

Кстати, о живописи. Снова и снова разглядываю портрет Александра Александровича. Он висит у него в кабинете, и в нем тоже живет тот дух, который незримо витает в этой «последней пристани». Тут Александр Александрович еще молодой, полный мужества.

Но висит этот портрет в таком маленьком кабинете нашего академика, что буквально некуда отойти, чтобы «охватить сущность», как он сам говорил.

— Нина, почему вы не перенесете этот портрет в столовую? Ведь там есть где разбежаться глазу, чтоб как следует увидеть всю композицию портрета?

Нина молчит, потом нерешительно произносит:

— Да, конечно, надо бы перевесить. Но ведь он сам повесил его здесь, перед рабочим столом. Он, наверно, глядел в него, как в зеркало. Глядел в свою молодость. И это придавало ему силы. А теперь... теперь, пожалуй, пришло время перенести его в столовую.

Вечер становится гуще. Уже за окном трепещут огоньки в ближних и дальних домах. Нина приносит на подносе кофе со сливками, она мастерица готовить его, и я с удовольствием пью и слушаю, слушаю. Теперь уже это повествование о последних днях.

— Да, вот еще о необычайной любознательности Александра Александровича. Как-то, будучи в Германии в 1971 году, он решил отыскать могилу знаменитого хирурга Августа Бира, умершего в начале века. Оказалось, что немецкие военные врачи, сопровождавшие Вишневского в этой поездке, даже не слышали о Бире и они в панике бросились разыскивать

по архивам все данные об этом ученом. Выяснилось, что был он похоронен в 1904 году близ Потсдама в маленьком городке, где еще жил его сын. Александр Александрович поехал туда, разыскал могилу с полуразрушенным крестом и сфотографировал группу врачей возле этой могилы...

— Нина, — прошу я, — расскажите, с какого времени он начал себя хуже чувствовать? Когда начался упадок сил?

— Началось с того, что к последней поездке в Америку Александр Александрович отнесся с какой-то нерешительностью. Ему очень не хотелось ехать. Я старалась удержать его, чувствуя какую-то тревогу, но не сумела. Отказаться он не мог, хотя все ходил по комнатам и бормотал: «Не хочу я ехать туда!.. Прямо противно входить в самолет». И все же поехал.

В Вашингтоне он пробыл двадцать дней на конференции, в клиниках и, видимо, страшно устал. Пора было щадить себя.

Я встретила его в декабре на аэродроме и поразилась перемене в нем. Он спустился с трапа, как сейчас помню, в гражданском пальто, и из-под полей шляпы я увидела совершенно белое, бескровное лицо, как маска. Я испугалась, и, видимо, это было так заметно, что Александр Александрович тут же бухнул: «Укачало». Хотя мы знали, что его никогда не укачивает.

На следующее утро он поехал в институт, который уже перевели в новое здание. А через два дня начал оперировать. Вот тут-то и был, что называется, «первый звонок». Он почувствовал дурноту во время операции и в первый раз в жизни присел возле операционного стола. Домой его привез Гельфанд и уложил в кровать. Ему сняли давление таблетками, но от постельного режима отказался наотрез, считал, что все это пустяки, и продолжал ездить в институт.

А между тем было заметно, что он начал сдавать — слегка волочил ногу при ходьбе, быстро уставал, но никак не признавался, что слабеет. Таков уж был характер...

У Александра Александровича была дача в Пестове, поскольку николиногорская дача отошла после смерти Варвары Аркадьевны их детям — Маше и Саше. Всю зиму и лето 1973 года мы с Александром Александровичем жили в Пестове, и он ездил оттуда ежедневно в институт. Зимние прогулки, воздух, тишина и обособленность дачного быта действовали на него благотворно и тормозили надвигающуюся болезнь. Я была с ним неотлучно...

Я слушаю Нину и мысленно вижу Александра Александровича в этот тяжелый период его жизни. Он уже с трудом ходил, его нужно было повсюду сопровождать. И Нина не отпускала его одного никуда, ездила с ним на заседания, ждала в приемных, в коридорах, в учреждениях, где ему надо было быть. Мозг его работал четко, он все помнил, обо всем заботился, административная деятельность его продолжалась очень активно, и в этом сознании своей необходимости людям было ощущение продолжающейся активной жизни. И задача Нины состояла в том, чтобы не удерживать его, не отрывать от жизни, от ее повседневных забот. Каждый день, проведенный в институте, записывался в актив. Многие считали, что, мол, неправильно со стороны Нины «таскать его в институт», а по существу, не Нина его, а он ее таскал за собой повсюду.

И Нина и сын его Саша понимали, что не давать ему угаснуть — это значит не отрывать его от привычной атмосферы, и как ни тяжело было Саше видеть отца, с трудом передвигающегося по коридорам института, он все же не отговаривал его, зная, что если отнять у отца эту возможность действовать, — он умрет.

Так оно в конце концов и вышло. Хоть Александр Александрович до последней минуты верил, что еще поправится, но врачи, следившие за ним, — Гельфанд, Гигладзе, Шмидт, — понимали, что конец близок.

— Последнее время, — говорит Нина, — я ходила за ним, как за ребенком. Конечно, можно было положить его в институт, но мне казалось, что беспомощность, усиливающаяся с каждым днем, будет невыносимо травмировать его, окруженного своими ассистентами, сестрами, нянями, которые еще так недавно видели его полным сил и энергии, и я решила весь уход за ним взять на себя, вплоть до инъекций, которые делала собственноручно.

В праздник 7 ноября, это был уже 1975 год, когда пришли навестить его дети, невестка с зятем и друзья, он выглядел очень хорошо, был веселым, оживленным. Лежал в кровати на высоко поднятых подушках, всех узнавал и приветствовал улыбкой, говорил со всеми. И день прошел вполне благополучно. Так же хорошо начался и следующий день. Но когда вечером я уложила его спать и вошла в спальню через час, я нашла его без сознания. Это был инсульт. Я вызвала «Скорую помощь», и его немедленно увезли в институт.

Его вернули к жизни на какой-то срок, но он потерял дар речи и был неподвижен. По существу, это была уже смерть...

Наступила ночь. Мы сидим с Ниной в столовой, не в силах оторваться от горьких, но дорогих ей воспоминаний...

На стене против меня висит фотография Александра Александровича в генеральском мундире, и лицо у него какое-то замкнутое и отчужденное, словно не об этом человеке мы здесь говорим.

И приходит мне на память рассказ Саши Вишневого о последних днях отца. Это было седьмого



ноября, когда вся семья пришла навестить Александра Александровича. К вечеру, когда все разошлись, уставшая от волнений этих тяжелых дней Нина Андреевна вышла на улицу немного пройтись.

Александр Александрович дремал в спальне. Саша на кухне пил чай. И вдруг услышал какой-то шорох в комнате, кинулся в спальню — отца там не было, потом в столовую — и увидел его там. Держась за спинку стула, он стоял перед портретом покойной жены и неотрывно смотрел на него. Саша тихонько подошел к отцу. Александр Александрович глубоко вздохнул и прошептал:

— Ну, вот и все...

Саша под руку отвел отца в спальню и уложил в постель. Александр Александрович был бледен и очень слаб. Он молча закрыл глаза и впал в забытие. И Саша понял, что отец как бы простился со своим прошлым, может быть, даже со своей сознательной жизнью.

Вот что рассказал Саша. Думается мне, что Нина, вероятно, и не знала, что произошло в ее отсутствие...

На дворе уже ночь, я складываю свои записи. Нина прощается со мной, и я чувствую нежность к ней и признательность за ее преданность Александру Александровичу.

# Что помнят друзья

## Фрагмент третий

Я слушаю рассказ актрисы МХАТа Софьи Станиславовны Пилявской. Мы знаем эту талантливую актрису, эту красивую женщину с породистым лицом и светлыми зеленоватыми глазами, устремленными на вас так, словно она видит сквозь вас.

За ее рассказом о Вишневском разворачивалась в памяти моей богатая картина расцвета Художественного театра, на фоне которой она сама как представитель русского сценического искусства и Александр Александрович как один из корифеев русской медицины выступали так рельефно, что для меня это было истинной радостью. Потому я не смею прерывать ее рассказа своими комментариями. Вот он, этот рассказ:

«...Ему никогда не надо было ничего объяснять — он все понимал с полуслова, многолетний, верный друг мой, Александр Александрович, к которому я приходила с радостями и горестями, каждый раз обогащаясь и переполняясь благодарностью просто за эту драгоценную дружбу.

Все было при нем, при Вишневском: блистательный хирург, крупный ученый, общественный деятель, остроумный собеседник и добрый, очень добрый человек. Общаться с ним было по-человечески просто. Причиной этому была как раз умная доброта его, которая пронизывала все его достоинства и недостатки и осталась в ореоле памяти о нем. Добра было сделано им бесконечно много!

Если начать по порядку, то это было в 1938 году, Александр Александрович в минуты шутивого настроения всегда говорил, что его связь с большим искусством и мастерами Художественного театра началась с домработницы актеров МХАТа Дорохиных, у которой было тяжелое заболевание ноги. И однажды доктор Иверов, постоянно лечивший семью Дорохиных, привез к ним стройного молодого черноволосого человека в очках, одетого в серый костюм.

Пока мы представлялись друг другу, все было весело и просто, но когда Вишневский стал осматривать ногу больной, то сразу преобразился, стал как-то взрослее и строже.

— Ну что ж, придется забрать ее к нам в клинику. Дело серьезное...

Как мы потом узнали, это была флегмона, и Александру Александровичу пришлось трижды оперировать, чтобы спасти ногу.

С этой истории и началась наша дружба с Вишневскими.

В этом же году отмечался сорокалетний юбилей МХАТа. Александр Александрович с Варварой Аркадьевной были гостями и сидели в первом ряду.

Вишневские стали часто бывать у нас, мы очень сдружились. Вскоре началась война с Финляндией, и Александр Александрович ушел на фронт.

Однажды отец его, Александр Васильевич, в страшной тревоге сообщил нам, что сын пропал без вести. Помню, что Александр Васильевич обращался к Ворошилову, прося узнать, где сын, но все оказалось безрезультатно. Не было никаких следов, и довольно долго.

Александр Александрович объявился много позже и внезапно. Оказывается, он попал в окружение.

А пока он отсутствовал, у него родился сын Саша. Мальчик рос уже в годы Отечественной войны, и я

помню, как, заехав домой с фронта в 1941 году, Александр Александрович, в восторге сверкая улыбкой, рассказывал, как он вбежал во двор и, увидев группу маленьких ребятишек, подбежал к какой-то белокурой девочке и спросил: «Ты чья, девочка?» А девочка ответила басом: «Я не девочка, я мальчик — Саша Вишневский». Так он познакомился с собственным сыном.

Накануне войны я попала к Александру Александровичу на операционный стол. А было это так. У меня обнаружили аппендицит двадцатилетней давности, изредка дававший приступы. Однажды такой приступ начался во время спектакля «Воскресение», где я играла Мариет. Туго затянутая в корсет, я вышла на сцену, села на стул, а встать уже не могла. В полуобморочном состоянии меня увел со сцены Ершов, игравший Нехлюдова.

Меня тут же отправили домой, где уже ждал Александр Александрович, которого попросил приехать мой муж.

Александр Александрович обследовал меня и заявил, что «момент пропущен, оперировать надо было давно, показаться надо было давно, а теперь придется ждать, пока приступ кончится».

И я продолжала играть в спектаклях, пока однажды на репетиции «Кремлевских курантов» Леонидов, ведущий эту репетицию, вдруг увидел, как я корчусь от боли в животе, и сразу же отправил меня домой. Вот муж отвез меня прямо в клинику на Большую Серпуховку. Было это 6 ноября 1940 года. Увидев нас обоих, Александр Александрович все понял, снял с меня пальто, бросил его на руки мужа со словами: «А ты иди, иди! И чтоб больше я тебя здесь не видел!» — сдал меня на руки сестре, приказав отвести меня вниз и переодеть во все больничное.

Ну тогда я была наружностью вроде бы «ничего себе девушка», но мне выдали бумазейные мужские кальсоны с пуговицей на животе и завязками на щиколотках, полосатую кофту, и в таком виде нянечка повезла меня в лифте на третий этаж.

Вышли мы из лифта, а нам навстречу Александр Александрович. Надо было видеть выражение его лица, когда он меня узнал!

— Это что такое?.. Уведи ее, — объявил он, — уведи немедленно, и чтоб она в таком виде не появлялась... И дай ей самый лучший халат!

Так впервые я выступила в роли пациентки. К вечеру освоилась, осмотрелась и пошла в кабинет Вишневого — обольщать его, чтоб не держал меня четыре дня лишних (это ведь были ноябрьские торжества), а, не откладывая, оперировал меня на следующий день — шестого утром.

— Вот ведь вы вроде умная женщина, а говорите глупости! — начал было он отбиваться от меня, но потом все же сдался — я сумела уломать его.

Выходя из кабинета, я достала из кармана «самого лучшего» халата коробку папирос. Александр Александрович заметил это и сказал:

— Ну, надеюсь, здесь-то вы курить не будете?

Я поспешила заверить его, что курить не стану, и от растерянности задала идиотский вопрос:

— Скажите, а сколько времени займет эта операция?

Александр Александрович посмотрел на меня с сожалением:

— А ведь я действительно считал вас умницей, и вдруг такой вопрос. Ну хорошо, представьте себе, что у вас есть шкатулка для рукоделия, иголки, нитки там, пуговицы... Можно приоткрыть шкатулку и вытащить наугад что попало. А обстоятельный человек снимет крышку, пороется и вытащит то, что ему надо, и все

остальное уложит обратно в порядке, закроет шкатулку, поставит на место. Понятно вам?..

Выслушав это нравоучение, я поблагодарила своего ментора и в некотором смятении выскочила из кабинета. Завернув за угол, юркнула в уборную, чтоб срочно выкурить папиросу. Затянувшись, я вдруг почувствовала, что куда-то плыву, плыву... Поняв, что теряю сознание, чтобы не упасть на пол уборной, вывалилась за дверь в коридор и тут же рухнула.

Очнулась я в палате. Возле кровати моей стоял Александр Александрович. Увидев, что я пришла в себя, он отчеканил:

— И вы еще требуете, чтоб я оперировал вас утром?

— Да. — Я старалась говорить как можно тверже. — И вы меня оперируйте завтра утром. Потому что по серьезному поводу я в обморок не падаю, только по пустякам могу... вот так пошуметь сдуру!.. Я ведь волевая. — Видимо, Александр Александрович мне поверил, потому что утром он сделал операцию.

Аппендикс оказался приросшим, начиналось какое-то осложнение, пришлось повозиться, но все сошло благополучно. Во время операции Александр Александрович разговаривал со мной и очень деликатно предупреждал: — А вот сейчас будет больно, потерпите... Ну как? Больно?..

— Угу... — мычу я в ответ.

— Скажите, пожалуйста, какая кокетка!.. Прекрасно. Я-то боялся, что артистки — истерички! Оказывается, ничуть! — шутил Александр Александрович.

В том же 1940 году мы попросили у Александра Александровича разрешения присутствовать на какой-нибудь из операций, поскольку в нашем театре ставили «Платона Кречета» Корнейчука. Александр Александрович разрешил, но предупреждал, что не все могут вынести этого зрелища. Операция была очень

кровавая и страшная — запущенный рак груди у пожилой женщины. Вишневский делал ее сам. И получилось так, что всех наших мужчин — Добронравова, Грибкова, Малолеткова и моего мужа — пришлось вывести, остались только мы, женщины.

Меня поразило главным образом то, что Вишневский очень ласково и даже весело разговаривал с больной, и она отвечала ему. И как же он сделал эту операцию! Чисто, виртуозно, тонко, я бы сказала, элегантно. Вокруг его рук не было ни пятнышка, только концы пальцев были в крови. И именно потому, что операция была сделана так мастерски изящно, — страшно нам не было.

Тесная семейная дружба наша началась в сороковом году. В эту зиму мы часто виделись, бывали друг у друга в гостях, а когда началась война, Александр Александрович заезжал к нам с фронта, пока нас не эвакуировали. В своем «Дневнике хирурга» 3 сентября 1941 года Александр Александрович записал такие строчки: «...Вечером решил навестить Дорохина и Пилявскую. Оба они — молодое поколение актеров Художественного театра, и я очень любил бывать у них. Увы, выяснилось, что они куда-то уехали. Грустно. Вернулся домой и лег спать».

Мы не виделись всю войну. Теперь об этом странно вспоминать. Наверно, у каждого из нас эти пять лет военного времени вырваны из личной жизни.

Итак, мы не виделись всю войну, а Вишневский закончил войну еще только через год после нашей победы. Он позвонил неожиданно в начале 1946 года и тут же приехал к нам.

Помню уже 1948 год, когда Вишневский стал, что называется, «лейб-хирургом» нашего театра. Мы, мхатовцы, обожали его, и скольких он у нас «резал», «штопал», «перекраивал», выправлял. Сколько было

застольных бесед, сколько веселья, ухаживаний и увлечений!

Однажды, я помню, зашла к Лабзиной в кухню после какого-то званого обеда и вижу: по сторонам кухонного стола сидят Александр Александрович и Виктор Яковлевич Станицын. И что же? Оба под хмельком и плачут горючими слезами, глядя друг на друга. Спрашиваю, что случилось.

— А мы без женского общества сейчас только и можем свободно поговорить.

Оказалось, что вспомнили оба, как Вишневский спасал Станицына на операционном столе.

— Ты понимаешь, Зося, — говорил Вишневский, утирая слезы, — он же страшно толстый, а аппендицит был запущен. Как сквозь жиры до него добраться? И вот стою я над ним и думаю: что делать? А перед глазами у меня: чайка на занавесе, траурная рамка, Станицын в гробу, а резал его кто? — Вишневский!..

В день 50-летия юбилея нашего театра Александра Васильевича Вишневского, Николая Семеновича Голованова и Антонину Васильевну Нежданову награждали нашим скромным орденом «Чайки». Ольга Леонардовна Книппер прикалывала им эти ордена.

И как же волновался Александр Васильевич, когда держал ответную речь! У него дрожали губы, и он долго не мог начать говорить. Так серьезно он оценивал нашу скромную награду. И было это незадолго до его смерти...

А через десять лет, в 60-летний юбилей МХАТа, орден «Чайки» получали Александр Александрович Вишневский и Борис Александрович Петров.

Помню, как наши «лейб-медики» сидели на сцене театра. Александр Александрович в штатском сером костюме, без регалий, смущенный, скромный. Помню, как он, растерявшись в необычной обстановке, торопливо кланялся на аплодисменты, которые неслись



из переполненного зала, когда Ольга Леонардовна прикалывала орден теперь уже ему. Александр Александрович был вхож в ее дом. И если Петрова Ольга Леонардовна называла «крикуном», то Александра Александровича — «шармером», она очень любила его и верила ему.

У Ольги Леонардовны Книппер мы часто бывали, и непременно на новогодних встречах. Во время встречи в этом доме Нового, 1944 года, у меня случилось большое горе. Умер скоропостижно мой муж, и это было так страшно, что лучше не вспоминать... Александр Александрович, узнав об этом, приехал ко мне первого января откуда-то с охоты.

Он вошел, молча сел против меня и долго сидел в раздумье. Кто-то из друзей стал просить его как-то вывести меня из состояния ужасного отчаяния, почти прострации. Но он сказал: «Оставьте ее в покое. Не трогайте...»

Он приехал через некоторое время еще раз, чтоб сказать мне: «Если тебе когда-нибудь, в любое время, по любому поводу понадобится моя помощь — зови меня!»

И с этого времени он как-то очень властно стал опекать меня. Он прямо-таки командовал мною, проверял мое здоровье, заставлял делать анализы, клал в клинику, если находил нужным провести курс лечения, отправлял в санатории, и я верила ему беззаветно. И всегда гордилась его дружбой и заботой.

Бывало так — Александр Александрович извещал меня по телефону, что для меня есть путевка с такого-то времени, чтоб учла, это в своих планах.

Однажды вот так по его распоряжению я оказалась в санатории в Архангельском. Летним утром уселась где-то на террасе в шезлонге почитать. Вдруг вижу — по парку бегают девушки в фартучках и форменных платьицах и кого-то разыскивают. Одна из них налетела на меня:

— Господи!.. Да вот же вы! А мы вас разыскиваем целый час. Генерал приехал и приглашает вас к нему на завтрак. — И повели меня какими-то коридорами, и попала я в гостиную генерала, где сидел Вишневский с флотским капитаном первого ранга, тоже хирургом.

Помню, что это был чудесный завтрак — с шутками, веселыми историями. А потом Вишневский вдруг посерьезнел и рассказал, что его жена, Лидия Александровна, сильно повредила ногу в том месте, где у нее давно уже был тромб.

— Я уговаривал ее лечь в клинику на операцию, а она не хочет. Говорит, вот съездим на море, отдохнешь и сделаешь мне операцию...

Одно из дорогих моих воспоминаний о Вишневском связано с его подарком. Это было в 1968 году. Он вытащил из ящика стола свою книгу «Дневник хирурга», недавно вышедшую из печати, и вручил мне с надписью: «Дорогой Зосе Пилявской, которую я любил, люблю и буду любить вечно!»

С начала семидесятых годов Александр Александрович стал заметно хуже себя чувствовать. Я продолжала навещать его, и однажды здесь, в столовой, он, который никогда ни на что не жаловался, вдруг взмолился:

— Могу же я хоть один раз в жизни заболеть?

И это было настолько неожиданно для всех, что мы тут же начали его уверять, что, конечно, надо же и ему когда-то позаботиться о своем собственном здоровье.

А это было необходимо — Александр Александрович все слабел, и все чаще ему приходилось ложиться в постель. Видеться теперь мы стали реже. И когда однажды мы ждали его с Ниной в гости, он вдруг заплакал и сказал, что в таком виде никуда пойти не может. Это был уже явный симптом тяжелой болезни...

В последний раз я видела его 7 ноября 1975 года. Я сама напросилась навестить его. Он уже не вставал с кровати. Помню его какого-то помолодевшего, полулежащего на высоких подушках. Был он даже оживлен, улыбался детям, Саше и Маше, приехавшим со всеми их семьями поздравить его с праздником. Я вошла и сказала: «Ну а поцеловать-то вас можно, ваше превосходительство?» Он улыбнулся своей нежной улыбкой: «Ну конечно, можно!» И когда я наклонилась над ним, он взял мою руку и сам несколько раз провел моей ладонью по своему лицу...

Я шла домой и знала, что видела его в последний раз, и он со мной попрощался. На следующий день, 8 ноября, к вечеру его увезли в институт. И вскоре он скончался.

Память об этом прекрасном человеке для меня священна».

## У выхода

Я стою перед высокой белой дверью, старинной, двухстворчатой. Стою и вспоминаю: сколько раз я поднималась сюда, на третий этаж старого здания клиники. Сколько раз в волнении я бралась за эту ручку, принося сюда свои недуги и ожидания исцеления! Сколько же раз нажимала эту ручку небольшая, но энергичная рука Александра Александровича, творящая чудеса!..

Я вхожу в приемную. Теперь здесь мемориальная комната отца и сына Вишневских. А раньше здесь были кабинет и приемная.

Приемная — комната с высоченным потолком, на стенах множество фотографий. И на каждом снимке — своеобразное лицо Вишневского с гладко выбритой головой, с массой мимолетных выражений, оттенков настроений, скольжений мысли: то замкнутости, то мечтательности, то заботы...

Здесь все как полагается в мемориальных музеях: обстановка, книги, рабочий стол, бронзовые слепки с рук Александра Васильевича и Александра Александровича... Вот шкаф, где висит генеральский китель Александра Александровича, будто еще хранящий тепло его тела. Вот белый халат, и шапочка, и сандалии. Белые потертые сандалии. В них Александр Александрович выстаивал по несколько часов возле операционного стола. Сколько же километров проделали эти сандалии по серым плитам коридоров, когда их хозяин спешил на встречу со смертельными недугами или, пошаркивая, медленно возвращались в кабинет после одержанной победы, а иногда и поражения...

А вот еще шкаф. За стеклом — кобура, планшет, фляга, помятая походная кружка — все эти вещи были с Александром Александровичем на фронте... Тут же коробки со множеством осколков, кусочков расплавленного металла и пуль, извлеченных из тканей раненых бойцов. И тут же, за витриной, небольшая стеклянная баночка с надписью: «Аппендикс Юрия Гагарина».

Взволнованная этой явью, отвожу глаза к стене и вижу на фотографии их обоих — Гагарина и Вишневого. Они сидят за завтраком и неудержимо хохочут над чем-то. Веселые, молодые!..

Обвожу взглядом стены со снимками и словно окунаюсь в прошлое, вспоминая, как в этой комнате, бывало, с утра толпились люди, жаждавшие встречи с Александром Александровичем. И кого только здесь не было!..

Помню, как здесь сидели в ожидании Ираклий Андроников с актером Грибовым. А в другой раз видела здесь троих грузин в сванских шапочках и бешметах, а с ними была молодая горянка с глазами газели — привезли издалека к Вишневскому исправлять «сэрце»... А иной раз вдруг открывается дверь, и входят то шахматист Петросян, то академик Северин, а то заглядывает какая-то старушка в валенках и в платке...

Однажды я видела присевшего у стола секретарши маршала Гречко.

Обычно Александр Александрович выбегал из кабинета — в халате с короткими рукавами — и, сверкая очками, быстро обводил взглядом сидящих в приемной, либо ища кого-нибудь, с кем заранее условился, либо что-то прикидывая, всегда торопясь и отнюдь не стремясь сдерживать свою рвущуюся наружу неумемную энергию.

А скольких космонавтов видели эти стены, когда перед полетом они заезжали к Вишневскому, чтоб он их

осмотрел и дал «добро». Теснейшая дружба связывала знаменитого хирурга с первопроходцами заоблачных высей...

Подхожу к окну. Часто, стоя возле него, Александр Александрович любил наблюдать за строительством нового здания института и словно говорил про себя: «Сколько же сил положил я на этот храм здоровья. Полжизни он отнял у меня!»

И действительно, сам задумал, сам отстоял, выстрадал проект, следил за строительством. И сейчас вытянулся этот корпус к небу своими шестнадцатью этажами и сверкает окнами, отражая лучи восходящего солнца и багровея пламенем на закате. А под ним теперь «ютятся» старые строения, прежде казавшиеся такими массивными. Вот ожоговый корпус — знаменитый Всесоюзный центр по лечению ожогов. Дальше еще корпуса — административный, кухня, экспериментальная лаборатория... Виварий — корпус, где изучаются на животных новейшие методы хирургической науки, потом корпус кибернетики. И все это разбросано меж зелеными купами деревьев больничного сада с тенистыми аллеями, где на скамейках сидят больные — в халатах и пижамах, у них здесь своя жизнь, свой быт, свой микроклимат.

Перед главным входом в «храм здоровья», лицом к нему, — памятник Александру Васильевичу Вишневскому — основоположнику всей этой школы. Памятник создал прославленный скульптор Сергей Тимофеевич Коненков. Из окна приемной хорошо виден этот памятник из красного камня. В лице Александра Васильевича удивительно тонко уловлено скульптором выражение спокойного достоинства и высокого духовного начала, свойственного лучшим представителям интеллигенции начала двадцатого века. И может быть, к шестнадцатиэтажному зданию больше подошел бы какой-нибудь монумент

модернистских очертаний, чем благодушный коненковский волжанин, но любое другое вряд ли приняли бы те, кто знал Александра Васильевича.

Новый корпус. Александр Александрович, подолгу смотря на него, в последнее время часто говорил: «Вот строил, строил новый институт, а работать-то в нем мне ведь не придется...»

И не пришлось.

Здесь я заканчиваю мою книгу «поисков Вишневого». В этот раз нечто удивительное происходит со мною. Обычно, заканчивая труд, испытываешь какое-то удовлетворение, особенно когда над книгой работаешь годами. А тут... будто кто-то очень дорогой уехал из дома. Чувство потери. За четыре года я так вросла в жизнь моего героя, что она словно стала частью моей собственной жизни. Отсюда это щемящее чувство и неизбывной радости, и тоски вместе!

Александр Александрович всегда говорил мне, что в области науки незаменимых нет, поскольку она вечно движется вперед и ставит перед человечеством все новые и новые проблемы. Однако я думаю, что когда науку вершат личности такого диапазона, то для множества людей, которые имели счастье общаться с Александром Александровичем, он останется незаменимым и неповторимым.

35 коп.



КОМПАС

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



## Фотографии



Александр Васильевич с сыном Шурой (1913 г.). Он вернулся из Парижа, где два года работал в лаборатории И. И. Мечникова в Пастеровском институте, и ведет в Казанском университете курс общей хирургии.



Раиса Семеновна Вишневская с детьми — Шурой и Наташей. Выразительны характеры всех троих — девочки с ее хрупкостью и добротой, мальчика с энергичным лицом, уверенно положившего руку на плечо матери, красивой, серьезной и несколько замкнутой женщины.

Военврачу Александру Александровичу Вишневскому тридцать лет. Он работает в Крутых Ручьях — там он пробует воздействие открытой его отцом новокаиновой блокады на проказу.



В 1934 году отец и сын Вишневские начали работать вместе в хирургической клинике ВИЭМа.

Снимок сделан в квартире Александра Васильевича на Новинском бульваре. Вишневские редактируют свою новую работу.

«Я, откровенно говоря, не всегда могу сказать, что принадлежит мне, а что — сыну в нашем общем деле», — говорил Александр Васильевич.



1946 год. А. А. Вишневский вернулся с Дальневосточного фронта. И вот он снова вместе с отцом в операционной. Александр Васильевич несколько угнетен, даже какая-то скорбь в его лице — здоровье и силы пошли на убыль, это был последний год его жизни.



Это болгарский мальчик Васи́лаки. Из-за врожденного порока сердца он был обречен на гибель. Александр Александрович дал ему второе рождение, произведя операцию на «сухом сердце».

И вот мальчик спасен. Внимательно прослушивает Вишневский «починенное» им сердце маленького болгарина.



Мастерская моего отца — художника Петра Петровича Кончаловского. Во время работы над портретом Александра Александровича Вишневого отцу было 75 лет. (Интересно, что я тоже в таком же возрасте стала работать над литературным портретом хирурга.)



В 1966 году в связи с шестидесятилетием Александр Александрович был награжден орденом Ленина и Звездой Героя Труда.

Торжественный момент — Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев вручает академику Вишневскому почетную награду.



Интереснейшая сцена: на снимке пианист Лев Оборин играет, а Вишневский поет. Оба они увлеченно проводят время за фортепьяно.





1954 год. В операционной у Александра Александровича почетный гость — профессор Сергей Сергеевич Юдин (третий слева), он внимательно следит за работой Вишневого.



Фронтowych фотографий Александра Александровича, к сожалению, очень мало. Вот одна из них: генерал П. И. Батов и полковник А. А. Вишневский на Карельском фронте.

Кабинет А. А. Вишневого. Первый слева его ученик, профессор А. С. Харнас, он руководит лабораторией искусственного кровообращения. Рядом в белом халате его ученик — хирург Н. А. Тогонидзе. Справа от Вишневого — Д. С. Саркисов, член-корреспондент Академии медицинских наук, он ведет в институте отдел патоморфологии.

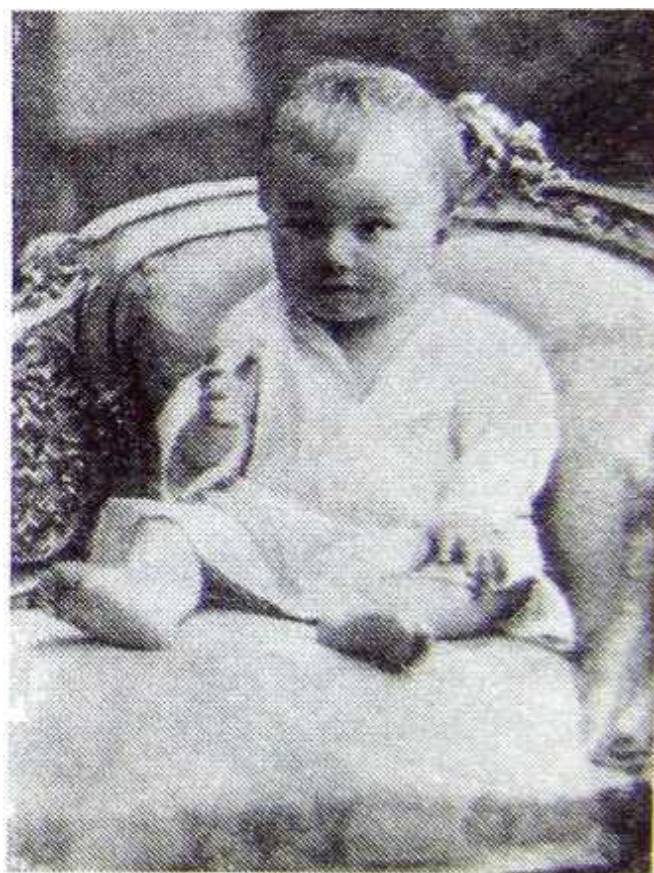


Варвара Аркадьевна Вишневская (1967 г.). Она была в течение 30 лет верной спутницей яркой и трудной жизни Александра Александровича.



Трудно себе представить, что эта пухлая младенческая ручка через тридцать лет будет держать ручку аппарата лазера и управлять этой могучей силой!

Александр «третий», сын Александра Александровича в годовалом возрасте.



Отец и сын Вишневские в операционной (А. В. и А. А.).

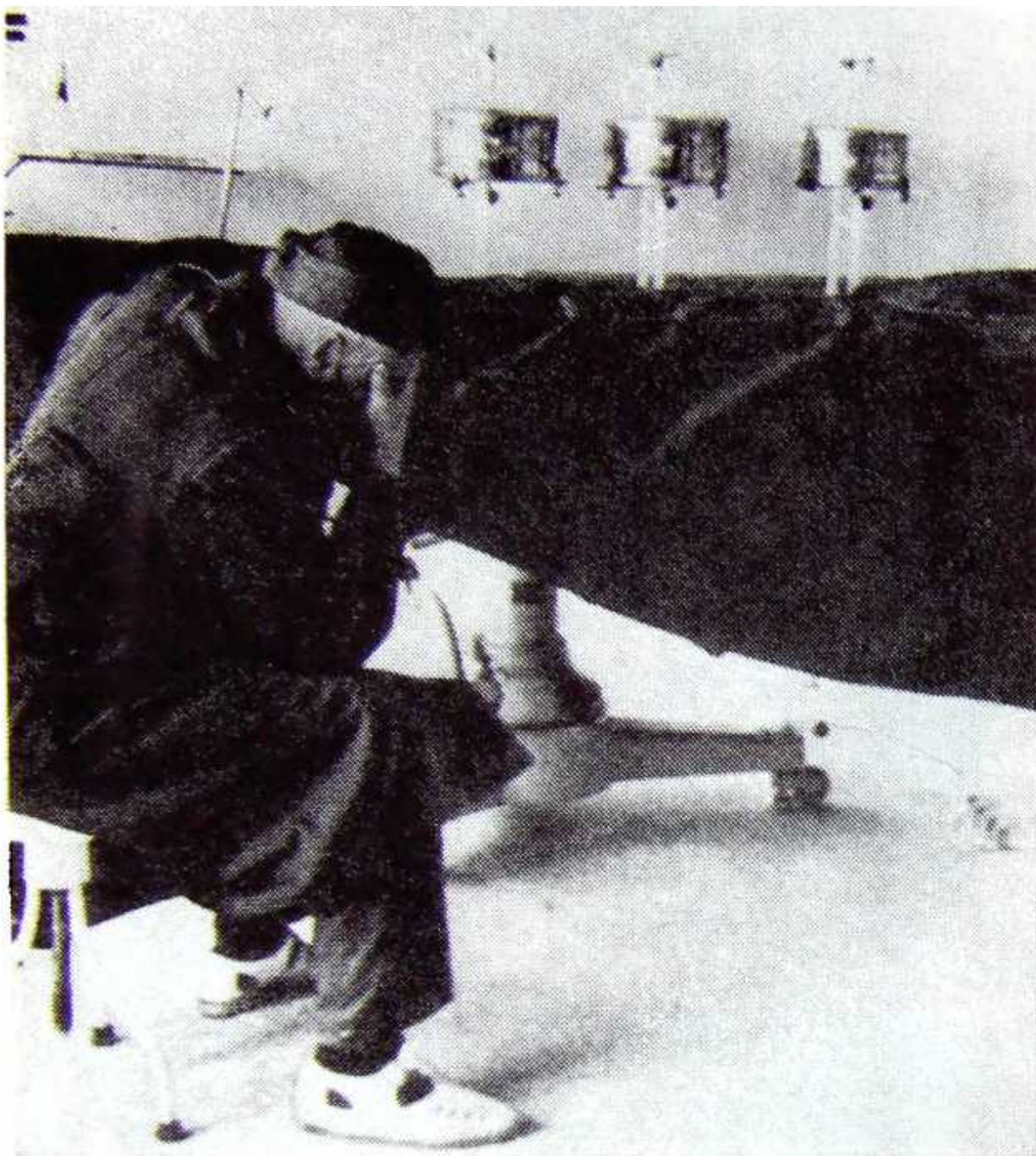
Сын мастерски ассистировал отцу и сам об этом говорил так: «Отдаю отцу столько сил, сколько их вообще есть у меня!»



И снова отец и сын Вишневские в операционной. Теперь это Александр Александрович и Саша. Он многое заимствовал у отца и в технике и в методах, но наука идет вперед гигантскими шагами, и теперь основательно изменились условия, в которых ныне работает Александр Александрович — младший, внук А. В. Вишневского.



Это лазер. На снимке — А. А. Вишневский-младший «приручает» лазерный луч. Он первым вместе с коллективом молодых врачей применил в институте принцип рассеечения тканей лазерным лучом при операциях на сердце и некоторых других. Эта научная работа послужила основой его диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук.



Редкий снимок — Александр Александрович в генеральском плаще, но в белых рабочих сандалиях и шапочке сидит в операционной. Поза у него горестная — операционная не достроена... Институт из старого здания перебирается в новое, и работа там еще не налажена... Его директор и главный хирург генерал



Вишневский присел на ходу в новой операционной, что-то обдумывает.



Это великолепное 17-этажное здание — один из ведущим научно-исследовательских центров, где решаются самые важные проблемы хирургии, где применяются новейшие методы лечения.

«...Мне хотелось изобразить великого ученого в минуту отдыха после операции, в его типичной одежде хирурга... — писал Сергей Тимофеевич Коненков. — Во время работы Александр Александрович давал мне ценные указания относительно деталей внешности своего отца».

Необычайно удачен этот скульптурный портрет Александра Васильевича Вишневского.





В предоперационной института. Медсестра готовит Александра Александровича к операции. Она едва

успевают завязать ему зеленый халат, он так и рвется «в бой» — ведь больной ждет.

Взгляните на его руки. Какая в них властность, какая готовность проявить мастерство!



В 1972 году в Москве проходил Международный конгресс хирургов и специалистов по сердечно-сосудистой хирургии. На снимке — Вишневский с американским хирургом Микаэлем де Бекки.

В гостях в Институте имени А. В. Вишневского крупнейший патофизиолог Ганс Селье, создавший учение о реакции человеческого организма на чрезвычайное раздражение, так называемый «стресс».



Среди многих иностранных хирургов, приехавших в Москву, был известный американский хирург Кули. На снимке — Александр Александрович принимает Кули в институте и по решению ученого совета преподносит ему бронзовую памятную медаль с изображением А. В. Вишневского.

А это Александр Александрович с Далай-ламой в Монголии. Лама в национальной пурпурной «чубе», накинутой по традиции на левое плечо, подносит в подарок Вишневскому корзину розовых лепестков.



Александр Александрович со своей женой — Ниной Андреевной. Несмотря на разницу в возрасте, Нина Андреевна сумела стать для Александра Александровича верным другом и помощницей, она, несомненно, скрасила последние годы его жизни.



Сердечная дружба связывала космонавтов и Александра Александровича. Горячий сторонник новых открытий в науке, он часто общался с ними, проверял их здоровье перед полетами в космос и давал своеобразную «путевку» в заоблачные выси. Космонавты платили ему такой же привязанностью и уважением.

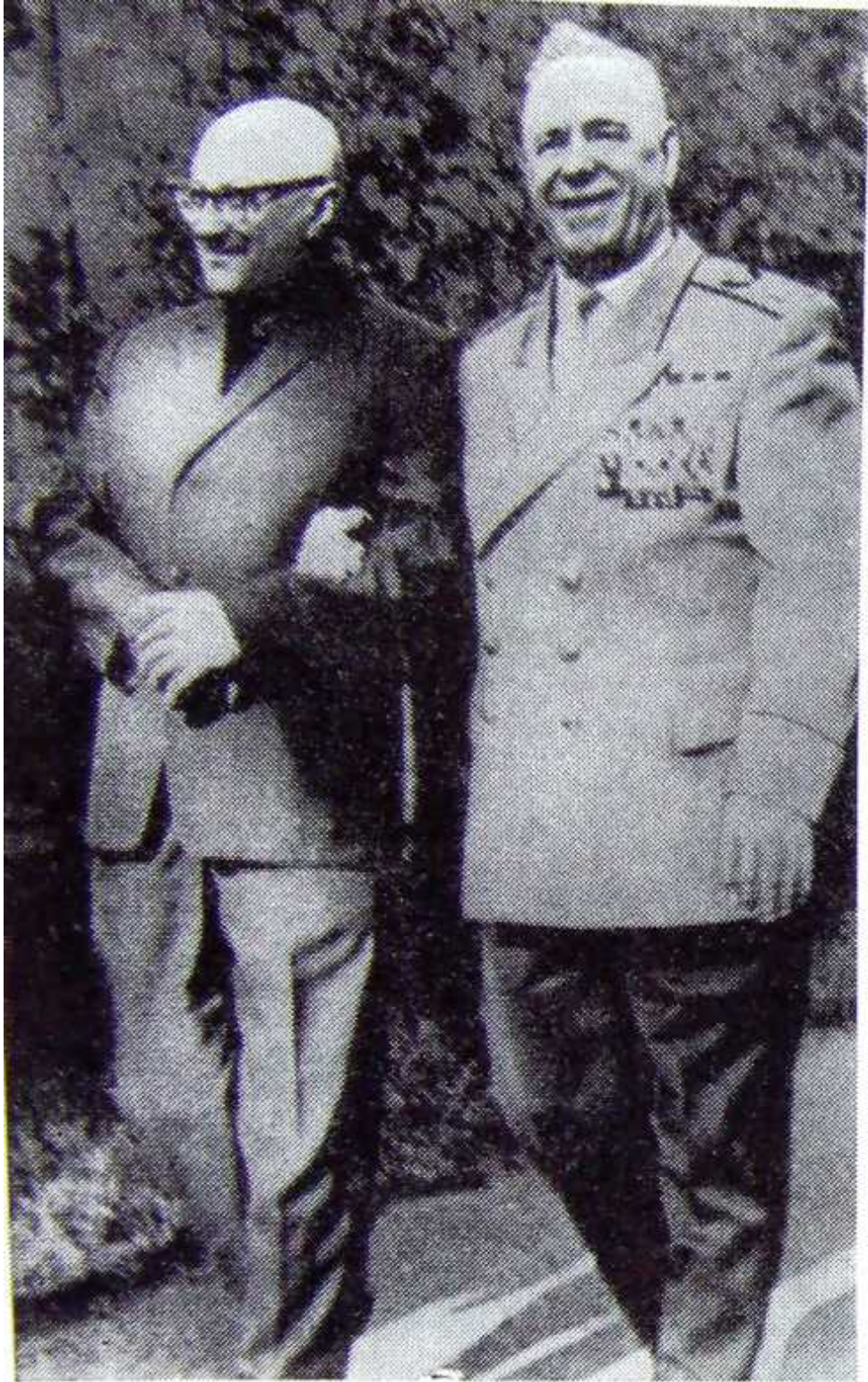
На снимке — Александр Александрович с Юрием Гагариным и Андрияном Николаевым. Видно, как он доволен, — пожалуй, нет для него гостей дороже.

Многолетняя дружба связывала Александра Александровича с Маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым.

В предисловии к «Дневнику хирурга» А. А. Вишневского маршал писал: «Автора этой книги — выдающегося хирурга Александра Александровича Вишневского — я знаю лично еще с Халхин-Гола — с 1939 года, когда он получил первое боевое крещение.

С тех пор он участвовал во всех войнах, которые пришлось вести нашей Родине».





## notes

## **Примечания**

**1**

Центральный институт усовершенствования врачей.

Парадоксально, но сам Александр Александрович очень боялся боли. Он боялся уколов, боялся бормашины. Он долго готовился к предстоящей инъекции, когда она ему была назначена, сам выбирал иглу и просил делать осторожнее. А уж если требовалась внутривенная инъекция, то это было целое событие — со множеством наставлений и указаний. Этот хирург, вскрывающий своим пациентам брюшные полости, удалявший желудки, оперировавший сердце, артистически вводивший иглу в надпочечную ткань и т. д., не мог видеть собственного пустячного пореза, не мог спокойно перенести самого элементарного укола.

**З**

Militärkrankenhaus (*нем.*) — военный госпиталь.